

18+

CENSORED



ОКТАБРЬ 2022 Г. | № 2

ВСЛУХ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВИР-ЖУРНАЛ

«Вслух»

литературный квир-журнал 18+

Редакторы:

А. Толкачева

А. Нечаев

Верстка:

А. Толкачева

Фото на обложке:

[Борис Конаков](#)

Фотограф: Alba Mios

Логотип: [Алексей Лис](#)

Почта редакции:

vsluh.zhurnal@gmail.com

Над выпуском
работали:

© Алексей Левинский, 2022

© Михаль Соболев, 2022

© [Май Мальцев](#), 2022

© [Катерина Мухина](#), 2022

© Иван Клиновой, 2022

© Май Маев, 2022

© [draw_eat_read](#), 2022

© [Анна Толкачева](#), 2022

© [Голодная Гусеница](#), 2022

© [Мелина Дивайн](#), 2022

© [Андрей Нечаев](#), 2022

© [Мария Руднева](#), 2022

© Милла Лу, 2022

© Марина Нестерова, 2022

© [Аврора Велес](#), 2022

Иллюстраторы:

[Татьяна Юхнавец](#)

[Крис Вольк](#)

[Генри](#)

[Kidonlsd](#)

[Крис Шпрайфер](#)

[Ericabestia](#)

[Greg Olivenbaum](#)

[Мария](#)

[Red Fox](#)

Ида

Фекла Свекла

Фотографы:

Джонатан Жак Луи

Давид Френкель ([Медиазона](#))

Журнал распространяется
бесплатно

[Сайт журнала](#)



С

Колонка редактора4

BelAmor5

О

Успех6

Сдача 11

Д

Назову тебя тоже ангелом 22

Разносторонняя 35

Вот ты выходишь 41

Е

Твои удержать мне руки 42

Осторожно дверь закрыл 43

Угол трения (18+) 44

Р

Однажды в тренажерном зале (комикс) [45](#)

Сюрприз 49

Игра в четыре руки [54](#)

Ж

Великан 66

Недетский вопрос 77

А

Куклы 78

Страна по ту сторону гор [83](#)

Н

Прожектор Пэрис Квиртон [104](#)

Соня, Сонечка и Марина: заворажи-
вающие квир-страницы в творчестве

Цветаевой 105

И

Никто не должен быть “удобным”»:
интервью с петербургским акциони-
стом Борисом Конаковым 117

Е

Долой ге(ро)йство (комикс) [131](#)

Колонка редактора

Приветствую тебя, читатель!

Осень – унылая пора? Кто придумал, что осенью обязательно заворачиваться в плед и грустно попить противостудное средство? Редакция квир-журнала «Вслух», как и всегда, настроена ломать стереотипы! А уж если и попить что-нибудь в пледе, то в компании с героями наших теплых историй.

Начинает выпуск рубрика «BelAmor», где мы собрали нежные, трогательные, а порой и колкие истории любви. Здесь можно увидеть вечное чувство с самых разных ракурсов.

«Угол трения (18+)» – самая горячая рубрика в нашем журнале. В этот раз ее украсили психологичные и даже терапевтичные рассказы, скрепленные духом БДСМ и крепкой мужской дружбы. Морозьте лед уже сейчас, ведь чтение обещает быть жарким!

«Недетский вопрос» в этот

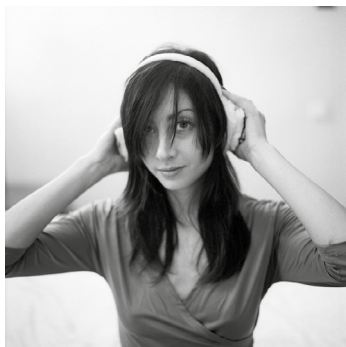
раз пропитан любовью и принятием, а еще согреет солнцем Страны По Ту Сторону Гор.

«Прожектор Пэрис Квиртон» – новая рубрика, в которой мы собрали публицистические тексты: обзор творчества Марины Цветаевой с точки зрения квирности, посвященный ее 130-летию, и интервью с петербургским акционистом Борисом Конаковым.

По новой традиции выпуск закончит комикс с очень няшным героем!

И пусть для наших читателей осень будет пора любви!

Анна Толкачева



BelAmor



erica
bestia



Алексей Левинский

УСПЕХ

Руфь взяла батон, отломил
горбушку, положила батон
на стол, стала отщипывать
хлеб от горбушки, разминать
его и небольшими порциями
класть в рот, слегка
покачиваясь на табуретке из
стороны в сторону. Вошла
Рахиль.

– Ну, как прошло? – не
глядя на нее, спросила Руфь.

– Отлично все прошло,
сама не ожидала, ты-то как?
Сидишь в потемках, – Рахиль
щелкнула выключателем,
и на кухне зажегся верхний
свет – люстра из пяти
лампочек. Руфь досадливо
поморщилась, и Рахиль
поспешила выключить
люстру.

– Голова болит? –
участливо спросила
Рахиль. Руфь не ответила,
и Рахиль продолжила: – Ну
да, я получила твоё SMS.
Так жаль, что у тебя не
получилось пойти. А почему
хлеб жуешь всухомятку?

Там ужин в холодильнике,
я полдняя сегодня готовила.
Паста с креветками.

Руфь едва заметно мотнула
головой.

– Ну, как хочешь, – Рахиль
уселась на табуретку
напротив. – Я тоже не
хочу пока. Слишком
взбуждена. Ты знаешь,
это было неопишимо.
Последнюю неделю я только
и делала, что волновалась,
замучила тебя, несчастную.
Но теперь... Сперва, конечно,
было волнительно, но
потом стало так комфортно!
Я едва ли не физически
ощутила поток энергии из
зрительного зала! Ничего
похожего не было ни на
одной репетиции! Волна
энергии ударила куда-
то в ладони, мои руки
были опущены, и вдруг
их захотелось развести в
стороны, вверх, будто это
и было их естественным
положением, будто это не



руки, а крылья! И когда я это почувствовала, мне было хорошо и комфортно уже до конца. Я наконец приняла себя, поняла, на что способна. Как жаль, что тебя не было там со мной! И знаешь, я просила тебя сегодня об одной вещи – ты наверняка помнишь... Я бы хотела это отменить.

– Вот как? – Руфь подняла одну бровь. Рахиль так не умела.

– Да! Мне нужно было отвлечь внимание. Я чуть с ума не сошла на этих репетициях, ты знаешь. Мне нужно было знать, что в ночь после премьеры это непременно со мной произойдет, вне





зависимости от того, хорошо ли я сыграю, плохо ли... Просто чтобы отвлечь внимание, чтобы ощущать эту неотвратимость. Чтобы не так сильно концентрироваться на своей игре, на публике, на производимом мной впечатлении. Но теперь я хотела бы это отменить.

– Вот как? – снова спросила Руфь. – А в спальне все готово.

– Ты ведь знаешь, как меня обижали дома, как мать и отец убеждали в собственном ничтожестве, вдалбливали это, – продолжила Рахиль.

– Я от них ушла. Я выбрала жить с тобой. Но привнесла губительные паттерны из родительского дома и в наши с тобой отношения. Так больше продолжаться не может! Я тяну, тяну за собой этот шлейф. Разве нам это нужно, Руфь? Разве мы не можем быть просто подругами?

– Просто подругами, – повторила Руфь. – Херова ты подруга.

– Но почему, почему? Почему ты так со мной?

– Голова раскалывается. Сажу, хлеб этот жую. А ты ноль внимания.

– Но я спросила тебя о самочувствии! Я предложила тебе ужин! Ах, Руфь, ты снова за свое! Сейчас я вижу, как ты мной манипулируешь, как вселяешь вину! Сейчас мне все открылось!

– Открылось, сказала? Так и вали на хер из моего дома.

Настало молчание.

Партнеры по спектаклю сразу после премьеры звали Рахиль на шумную вечеринку в просторной квартире в центре города, и та хотела пойти, но беспокоилась о Руфь. «Как там она с больной головой в одиночестве?» – думала Рахиль. Но ей, конечно, хотелось пойти, отметить свой успех среди улыбок, бокалов шампанского, букетов, ярких ламп. Рахиль бросила взгляд на выкрашенную синей краской стену кухни – там за тонкой трубой батареи расположились цветы: сухие розы и тюльпаны, их тени вытянулись по стене в тускловатом свете



настойной лампы. Руфь любила только засушенные цветы, и все свои букеты Рахиль сегодня раздала партнерам, не стала тащить домой все это благоухающее великолепие. И вот Руфь прогоняет ее. Что ж, давно пора!

Треснувшая штукатурка на синей стене, темное расплзшееся пятно влаги на потолке, капающий кран над раковиной, голая лампочка в ванной, подсвечивающая закрытую дверь желтым прямоугольным контуром, Руфь в рваной рубашке с отсутствующим взглядом и поджатыми губами – все это она прямо сейчас оставит без сожаления, чтобы, пройдя двором, выйти на шумный проспект и помчаться в ярком автобусе навстречу жизни, приключениям, старым и новым друзьям.

Как она жила все это время, в этом полумраке, в этой сырости? Кто ей Руфь? Она оставит все это без сожаления, решила Рахиль, но все-таки бросила мимоходом прощальный взгляд на Руфь. Ей вдруг

стало ее жаль. Рахиль уедет, будет веселиться, а Руфь? Так и продолжит, жуя батон, качаться взад-вперед на табуретке?

– Не уйду я никуда, – вдруг сказала Рахиль. – Высеки, чего уж там. Сама ведь тебя попросила, а ты понадеялась, вот и наслаждайся в свое удовольствие. Надо ж за слова отвечать. Высеки, насладись. Только мне теперь про тебя все понятно. Ты просто маленькая завистливая тварь. У меня премьера, а ты тут сидишь в потемках, упиваешься своей маленькой властью, радуешься, что поймала на слове, что мне теперь не отвертеться. Но знай – я от своего не отступлюсь. Я уже не верю в эти средства, в эти игры. Я просто постараюсь вытерпеть. Я знаю, что в действительности не заслуживаю такого обращения.

Руфь впервые за вечер обратила взгляд на Рахиль.

– Мне совершенно безразлично, Рахиль, во что ты веришь или не веришь, – сказала Руфь. – Сейчас ты



треплешь языком, а через несколько минут будешь лежать молча, обнаженной и зафиксированной. Сосед по этажу уехал на рыбалку с ночевкой, и мне даже не потребуется включать Rammstein, чтобы заглушить твои крики, Рахиль. Ты получишь свое сполна, а по окончании признаешь необходимость этой меры. В очередной раз ты познаешь глубину своего ничтожества и найдешь в этом успокоение, и уснешь, наплакавшись, головой у меня на груди, ведь такова твоя чертова природа, о моя Рахиль...

Улица, стремительно летящий по ней автобус, пузырьки шампанского, цветы, просторная квартира с друзьями, овация зрительного зала – в этот сияющий витраж будто кинули булыжником, радужный образ пошел трещинами, чтобы спустя мгновение обрушиться осколками. И за осыпавшимся витражом Рахиль снова увидела синюю кухню

с сидящей напротив Руфь, но уже другими глазами – пятно на потолке, сухие цветы, капающая в раковине вода и наконец сама Руфь – все казалось теперь прекрасным, исполненным значения...





Михаль Соболев

СДАЧА

0

Апрель 2021

Верена и я выбрали кафе «Тетушки Эммы» по разным причинам. Мне хотелось теплого штруделя, предпочтительно с шариком пломбира; а Верена собиралась расстаться со мной в людном месте, чтобы я не устроила сцену.

В наших ожиданиях мы обе остались обмануты.

— Простите, у нас сегодня вообще никаких десертов, — сообщила официантка.

— Забастовка? — уточнила Верена сочувственно. Ей всегда было важно подчеркнуть, с какой симпатией она относится к обслуживающему персоналу.

— Нет, дело не в забастовке, а в сломавшемся холодильнике.

Верена сокрушенно покивала.

— Можно было бы, конеч-

но, подавать банановый хлеб, но они не могут заказывать только его там, где обычно получают десерты.

Верена всплеснула руками.

Официантка даже раздумывала над тем, чтобы испечь немного хлеба самой, но продавать его было бы нелегально, да и к тому же ей нужно работать над диссертацией.

— О! О чем ее диссертация?

— Ах, ну о том, как информация о ковиде подается в Японии...

Наконец она ушла, и Верена снова обратила внимание на меня.

— Саша, этот разговор не просто начать, — она сложила локти на столе.

— Ты что, со мной расстаешься? — засмеялась я.

Ее лицо собралось в гримасу, а потом она кивнула.

Верена говорила, пока ей не принесли кофе. Ее мен-



тальное здоровье не позволяло ей продолжать эти отношения: она становилась худшей версией себя, и было несправедливо — заставлять меня проходить через такое.

— Тем более, — заметила она, опрокидывая сливочник над чашкой, — наши отношения начали заходить слишком далеко, ты не находишь?

— Я переехала в Берлин ради тебя!.. — выпалила я.

Верена подняла бровь и демонстративно осмотрелась по сторонам.

— Дорогая, мы сейчас в Берлине? — спросила она прохладно.

Мы не были в Берлине. Вокруг нас был родной Верене Регенсбург, где мы и познакомились несколько лет назад.

Весь последний год она собиралась переехать, но что-то все время не складывалось. За ней числилась комната в общежитии, но она до сих пор ни разу там не побывала; да и занятия онлайн посещала лишь время от времени.

— В любом случае, — Ве-

рена сцепила пальцы. — В Берлин я не перееду.

— Что?

Она развела руками.

— Мне очень жаль, — она сделала глоток из чашки и поморщилась. — Можешь передать сахарницу?

Пять часов и четыреста двенадцать километров спустя я боролась с искушением утопиться в собственной ванной. На вокзале я купила книгу в мягкой обложке, но все истории в ней были о Верене.

Усилием воли я заставляла себя отринуть ее существование.

Не думала о ее веснушках, пока заходила в пустую квартиру, или о суховатой коже на ее локтях, пока набирала ванну; раздеваясь, не вспоминала о том, что, когда она улыбается, видны ее десны.

Вода обжигала кожу: хорошо; волосы намокли и прилипли к плечам; один из задних зубов снизу немного болел, наверное, стоило бы записаться к стоматологу; я собиралась провести всю жизнь вместе с Вереной, а она меня бросила.



Телефон издал негромкий переливчатый звон, который много месяцев назад я настроила, чтобы не пропускать Веренины сообщения. Я рванулась к трубке и сжала ее в своей ладони. Пальцы были слишком влажными, чтобы мой отпечаток можно было распознать, потому пришлось набрать до от вращения длинный пароль вручную.

Verena: О, слушай, можешь заодно, пожалуйста, сходить в общагу и сдать мои ключи? У меня вообще больше нет нужды ехать в Берлин, не хочу лишний раз на билет тратиться.

1

Герр Вильгельм оставил после себя невытую чашку в раковине. За выходные остаток жидкости загустел и превратился во влажную черную пленку.

Сжимая чашку в руках, Тамара спросила себя, не хочет ли она пожаловаться: написать сухое официальное письмо, комментирующее поведение Герра Вильгельма, отметить его непрофессионализм и безалаберное

отношение к поддержанию чистоты рабочего места...

Но мысль о мигающем курсоре и словах, трудно собирающихся в предложения, омерзительна. Слепящий свет экрана, жалкие, осыпающиеся со строки «sehr geehrte Damen und Herren¹» и ее собственные толстые пальцы, не попадающие по клавишам...

Тамара повернула кран.

Пальцы свело от холодной воды. На ручке крана отразилось ее лицо.

«В какой момент, — подумала она, — ты привыкаешь к тому, что эти складки, это печеное яблоко, это теперь ты и есть?»

В приемной раздался короткий звонок.

— Иду, — крикнула она, промакивая чашку жестким листом бумажного полотенца.

Посетительница стояла у двери, переминаясь с ноги на ногу; плечи опущены, ладони сцеплены вместе, лицо

1 «sehr geehrte Damen und Herren» – «дорогие дамы и господа» (нем.), стандартная фраза, с которой начинается официальное письмо, если неизвестно имя адресата.



скрыто маской, изучает пол.

— Чем я могу вам помочь?

— она опустила чашку на стол и поискала глазами маску.

— Я хочу выехать, — посетительница говорила с сильным восточно-европейским акцентом, обнажающим себя в каждом произнесенном ей слогe. — В смысле, я представляю кого-то, кто выезжает.

Она вытянула руку с зажатыми между двумя пальцами ключами.

— Имя? — Тамара скользнула мышкой по столу, оживляя монитор.

— Александра Белова, Б-Е..., — девушка подалась вперед, потом вдруг осеклась. — Ой, извините, мое или того, кто выезжает?

— Того, кто выезжает, — обычно Тамара бы уже начала чувствовать легкое раздражение, но нервная манера девушки ей импонировала.

— Тогда Верена Пютц. П-Ю-Т-Ц.

База данных продемонстрировала, что Верена жила в здании общежития весь

последний год. В поле для заметок было отмечено, что ключи при въезде были получены поверенной. Тамара открыла новую страницу и щелкнула по значку печати.

— Откуда ты?... — она хотела добавить обязательное вежливое расшаркивание, что-нибудь типа «если тебя не смущает подобный вопрос», но не смогла выбрать подходящее выражение и остановилась на многозначительной паузе.

— Россия, — ответила Александра невнятно.

— Тебя не смутит, если мы перейдем на русский?

Александра не стала изображать оживание или восторженно вскрикивать при звуках родной речи и просто пожала плечами, демонстрируя, что к русскому относится нормально.

— Пойдем, взглянем на комнату, — Тамара подобрала первые несколько страниц акта из принтера.

Александра сцепила руки, чуть наклонившись вперед:

— Взглянем? — переспросила она.

Тамара взмахнула листами



бумаги.

— Мне нужно проверить, что все на месте, и там чисто.

Она напряженно кивнула:

— Понятно, — ее голова, обхваченная маской, качнулась, прядь выскользнула из-под резинки, и Тамара заметила, что эта девушка была похожа на Киару, такой какой она была двадцать лет назад.

0

Есть определенные услуги, которые ты не горишь желанием оказывать, но от близких друзей они ожидаются: встретить человека в аэропорту, например, собрать мебель из Икеи, помочь с переездом, подержать за руку в очереди на аборт. Ничего из этого само по себе не является особенно увлекательным времяпрепровождением, но рано или поздно это приходится делать.

Наверное, сдача комнаты тоже должна занять место в этой категории.

Не то чтобы я согласилась это сделать из-за надежды на возвращение Верены, но... Какая-нибудь сопоставимая идея явно мелькала у меня в

голове.

Технически все это время ключи были у меня: я забрала эту связку почти год назад, когда еще казалось, что Верена переедет в любой момент. Все это время ключи пролежали в ящике моего рабочего стола.

Пока я шла до общежития — оно было расположено всего в получасе пешком от работы — мне казалось, что в любой момент Верена мне напишет и попросит остановить все это, объяснит, что передумала, что приезжает в Берлин, и что мы будем счастливы.

Вместо этого я нашла серую коробку офиса администрации, опухолью приросшую к высокому зданию общежития, натянула на лицо маску и зашла внутрь.

На стойке в пустынном офисе нашлась бутылка дезинфекционной жидкости рядом с маленьким металлическим звонком. Секунду я помялась, неуверенная, не будет ли прикосновением гигиенических правил; но мне хотелось расправиться



со всем этим побыстрей.

— Сейчас подойду! — выкрик из соседней комнаты; за которым последовала его обладательница, женщина с идеально прямой спиной. У нее было не улыбочное лицо и седеющие волосы, небрежно убранные назад.

Я надеялась, что смогу просто толкнуть ключи в ее сторону, и история на этом закончится, но вместо этого она извлекла кипу бумаг и начала ставить на них многочисленные галочки.

— Откуда ты? — спросила она, поднимая на меня глаза.

— Руссланд, — выдавила я.

— Тебя не смутит, если мы перейдем на русский? — она говорила с легким акцентом, задавая вопрос с немецкой интонацией.

Я пожала плечами, надеясь, что теперь нам предстоит только стремительно распрощаться и больше никогда друг друга не видеть; но она подцепила планшет с еще парой листов бумаги и сделала широкий жест. Оказывается, кроме сдачи ключей мне также предстояло про-

демонстрировать состояние комнаты.

Пока мы шли вверх по лестнице (лифт она проигнорировала), я думала о том, как страстно я предпочла бы быть где-то еще.

Веренина комната в общежитии была символом ложной надежды: кровать, на которой мы никогда не будем спать; стол, на котором никогда не будет стоять наша фотография; шкаф, где никогда не будет места для моей одежды на полке.

— Ты при въезде забирала ключи?

Я кивнула.

— Но в комнате-то жила она? — мнимое дружелюбное уточнение. Я осеклась, не зная, что ответить на это.

— Ну, честно говоря, тут никто так и не жил, — я вставила ключ в замочную скважину и толкнула дверь вперед.

На глаза немедленно попались две вещи, которые по какой-то идиотической причине я оставила в тот единственный раз, когда здесь была. На полке в небольшом пластиковом горшке стоял



засохший цветок, а рядом к нему был прислонен поляроид, который мы сделали однажды чуть больше года назад.

— В Берлине кризис с жильем, а комната стояла пустой? — уточнила женщина несколько насмешливо, заходя в комнату и оглядываясь.

— Извините, — пробормотала я. Потом потянулась за фотографией и горшком.

Цветок я, наверное, купила тогда в супермаркете. Тогда еще казалось, что Верена придет в любой момент.

Маленькая гортензия пала жертвой наших отношений.

Моя спутница взглянула на поляроид с интересом, и я внутренне подобралась. От соотечественников можно было ожидать чего угодно.

1

Александра держалась так же, как и Киара: одинаковый наклон головы, прищур глаз и напряженное положение плеч. Именно такой Киара была в Гумбольдте почти двадцать лет назад, когда Тамара с ней познакомилась.

На лекциях Тамара была





самой старшей (иногда включая профессора), в окружении вчерашних детей. Киара тогда всегда садилась рядом с ней.

Тамара заглядывалась на ее серый шарф, надеясь, что она его однажды забудет в аудитории, и так у них появится предлог заговорить.

Александра прижала к груди горшок с сухой землей и мертвым растением.

Тамара прошлась по комнате: в ней очевидно никто не жил. Можно было, конечно, придраться к пыли или потребовать вымыть пол, но Александра ей нравилась.

— Это твоя девушка? — уточнила Тамара, кивая на маленькую фотографию. На ней Александра и брюнетка с растрепанными волосами делили тарелку со спагетти.

Ответом был напряженный кивок.

— Да, *meine Freundin*², — она сказала это на немецком, позволяя языку стереть разницу между девушкой и 2 В немецком языке *meine Freundin* (букв. «моя подруга») обычно значит моя девушка, но может быть использовано и для обозначения неромантических отношений.

подругой.

Тамара улыбнулась. Нужно было сказать что-нибудь ободряющее, подсказывающее, что ей нечего опасаться.

— Мы с моей женой живем здесь почти двадцать лет, — наконец сообщила она после неловкой паузы. Это была полуправда, сглаживающая многие годы, Парижский эпизод, и те восемь месяцев, что Киара и Тамара жили отдельно. — У нее здесь кафе. Они часто устраивают разные квир мероприятия и... эм, лесбийские вечера?

Последнее словосочетание звучало непривычно на русском.

— А где оно? — Александра улыбнулась под маской, явно расслабляясь.

— В Кройцберге... Погоди, — Тамара оторвала кусочек бумаги с верхнего листа на планшете и нацарапала адрес. — Вот, держи. Приходи! И подругу свои приводи...

Александра кивнула, сжала бумажку в руках.

— Мы только что расстались, — сообщила она.

— Мне очень жаль, — что



еще можно сказать в этом случае? Даже если все, что она знала об их отношениях, это то, что однажды они съели тарелку пасты. — С комнатой все в порядке. Ты можешь идти.

— Здорово. Спасибо.

— Но приходи в кафе, правда.

— Обязательно! — Александра придержала ей дверь.

В офисе Тамара поставила вариться кофе. Кофейная пудра очерствела за последние несколько недель.

Александра не шла из головы. Светлые волосы, выбивающиеся из прически, бледное лицо, скрытое маской, неуверенный изгиб спины.

Тамара всыпала в чашку ложку заменителя молока и сделала глоток, скривилась. Она представила, что они встречаются снова: в том же Киарином кафе, например.

Александра напряженно сидит за угловым столиком, а Тамара подходит к ней почти вплотную, садится напротив. О чем они могли бы говорить? Может, о России. Она представила, как заправляет выбившуюся прядь у

Александры обратно ей за ухо.

«Тебе миллион лет, — сказала Тамара себе грубо. — У тебя прекрасная жена, которую ты очень любишь».

В обоих утверждениях была доля правды.

0

Кто-нибудь обязан изобрести слово, обозначающее облегчение, когда ты подозревал в ком-то гомофоба, а они оказались квир-персоной.

Я вышла из общежития почти счастливой, в кармане кусочек бумаги с адресом.

У мусорного бака я избавилась от фотокарточки, попыталась впихнуть туда и горшок с засохшим цветком, но он не лез, потому я просто оставила мертвую гортензию на асфальте.

Я отдавала себе отчет в том, что мое приподнятое настроение временно, и что скоро оно снова сменится на бессильное отчаяние, собственное расставаниям; но сейчас это не имело значения. Я была жива и была в Берлине. А все это: слезы по утрам, навязчивые мысли о том, как все исправить, сны





о наших отношениях, все это в какой-то момент будет в прошлом.

Я достала из кармана телефон и быстро набрала первое сообщение, подтверждая, что успешно сдала комнату, а потом, с небольшой задержкой, второе.

«Нам нужно провести некоторое время порознь», – подумала я, щелкнув по фотографии Верены в WhatsApp (в прошлой жизни, жизни наших отношений, эту фотографию сделала я) и нажала на «заблокировать контакт».

2

Sasha B: я сдала твою комнату, все ок

Sasha B: нврн, лучшим выходом сейчас будет, если мы не будем общаться какое-то время

Сашина аватарка (новая, явившаяся символом того, что они расстались, заменив прежнее изображение их счастья на версию Саши, излучающую стеллаж с книгами) мигнула и исчезла, верный признак блокировки и того, что в последней реплике Верене было отказано.

Она перенесла собственное

тело на кровать с кресла, откинулась назад, кончик подбородка стал перпендикулярен потолку, и ее замутило, прекрасная физиологическая реакция, отвлекающая от переполнявших чувств.

Можно было бы просто признаться, конечно. Попросить Сашу приехать и сказать ей правду, что даже оказаться на вокзале теперь невозможно, что страх сожрал вселенную, окружающую Регенсбург.

«Я не могу сесть на поезд», — объяснила бы она проникновенно. Саша прекрасная, добрая. Саша бы поняла. Она бы вернулась, помогла искать психотерапевта, поддерживала в конфронтации со страхом и невероятно любила.

Но Верена уже подвела Сашу достаточно.

Оставалось только отпустить.



Май Мальцев

НАЗОВУ ТЕБЯ ТОЖЕ АНГЕЛОМ

Посвящается К.

1

Ад пуст. Все бесы здесь.

У. Шекспир

В этом жутком месте раскаленные докрасна скалы возвышались грозными стражами на пути каждого грешника. Камни так сильно нагревали воздух, что он становился густым и вязким. Создавалось впечатление, будто вдыхаешь расплавленную смолу. От жара камней вверх поднимались столбы горячих потоков. Их обжигающие частицы оседали в легких знойной пылью и не давали нормально дышать.

Человек с алыми прядями в длинных черных волосах брел по каменистой дороге, с трудом переставляя босые ноги. При каждом шаге он

сильно закусывал нижнюю губу и иногда поднимал антрацитового цвета глаза.

Надежда увидеть что-то в беспросветной высоте, заменяющей небо, угасла, но непонятное, давно забытое чувство заставляло брести дальше и искать место, где высота будет чистой.

Желание докопаться до сути и вспомнить то, что забыл, что казалось таким важным, что постоянно напоминало, царапало и заставляло идти.

– Открыт вход в ад, знаешь? Там такая очередь! Саргатанас, может, глянешь?

Темные глаза нашли лицо говорящего и присмотрелись: с виду человек, но взгляд, как у всех здешних, горит красным.

– Эй, ну ты чего? – парень



осторожно сделал пару шагов назад, заметив, как вырослась чернота вокруг Саргатанаса. – Я же так, просто. Давно ты здесь. Вот подумал, может, на ад посмотришь и успокоишься...

Темный дух, звавшийся Саргатанас, действительно блуждал в этом мире чуть ли не с начала его сотворения. Не помнил он, как попал сюда и для чего. Из-за безумного взгляда угольно-черных глаз местные обходили его стороной, старались не заглядывать в их глубину, боясь утонуть в бесконечной боли.

Мимо него проходили и другие души. Они, потеряв самих себя, так же бродили здесь – обреченные на страдания, искупали грехи муками.

Попадались и темные, такие как сам Саргатанас. Деяния их уродовали не тело, а сущность, превращая взгляд в алое пламя.

От бесконечных страданий и нестерпимой боли они постепенно менялись. Саргатанас же, непонятно почему, оставался таким на

протяжении тысячелетий и не менялся несмотря на бесконечную боль.

«Почему в груди так давит и жжет? Невозможная тоска с каждым выдохом все крепче сжимает горло своей когтистой лапой. Уйти бы. Вываться. Но никак. Что так тянет внутри, будто я забыл что-то очень важное? Что делало меня живым?»

Поглощенный своими мыслями он не заметил, как слился с длинным потоком душ и дошел до синей скалы, ледяная расщелина которой приглашала войти всех стремящихся увидеть ад.

Переминаясь с ноги на ногу, Саргатанас мысленно подгонял любопытных, которые двигались слишком медленно. Дрожь прошла по всему телу и сосредоточилась мелким покалыванием на кончиках пальцев. От чего-то ему побыстрее хотелось попасть на другую сторону, что-то подстегивало и торопило.

Когда Саргатанас подошел к разлому, тот завибрировал легкой дымкой, которая,



впрочем, через мгновение стала зеркально-гладкой. Он протянул руку, неуверенно коснулся поверхности. Пальцы легко прошли сквозь портал.

Неожиданное ощущение, что он больше не один, придало уверенности.

«Не бойся, я рядом, – легкий ветерок поиграл красной прядью и поманил за собой, – я всегда рядом».

Внутри что-то дрогнуло, пробуждая давно забытое. Голос напомнил о родном и любимом.

Саргатанас сделал шаг и очутился в месте, которое на той стороне называли адом.

Он осмотрелся. На крыше небоскреба было тихо, а шум, доносившийся снизу от дороги, совсем не мешал. Огни города мигали, словно скопление светлячков, создавали ощущение праздника.захотелось вдохнуть этот воздух полной грудью. Он осторожно потянул воздух и впервые легко вдохнул так, как хотелось давно.

Новыми были эти чувства или давно забытыми, Саргатанас не знал, но ощущал

ликование, смешанное с удивлением.

«Может, и там все иначе», – голова медленно поднялась.

Забыв обо всем, Саргатанас смотрел на чистое небо, сплошь усеянное мелкими точками. «Такие маленькие, но яркие...» – он потянулся раскрытой ладонью, но на полпути передумал и опустил руку. Воспоминания хаотичными обрывками начали мелькать перед глазами, как куски случайных кадров. Прошлое обрушилось на него перемешанными деталями пазла. Вот он идет по цветущему парку. Водяные лилии так прекрасны, но взгляд прикован к улыбающимся губам парня, идущего рядом. Стоило моргнуть, как картинка изменилась, и Саргатанас с разочарованием отметил, что хотел бы рассмотреть лицо с грустной улыбкой. Он вспомнил, как нашел и как потерял того, кого любило его сердце. Вспомнил, как дни сменяли ночи, а в неврологическом отделении оставалось все как прежде. Тогда он дни напролет сидел на подоконнике и



записывал, переводя чувства в слова. А длинными ночами накрывался с головой одеялом, только чтоб никто не слышал, как плохо сдерживаемые всхлипы рвут тишину, как от тоски скулит душа. Он кричал, звал и задыхался не в силах уснуть. Теперь в его памяти мелькали: луна, затянутая дымкой полупрозрачных облаков, подножья гор, покрытые корявыми деревьями, северное сияние и яркая полярная звезда. Неожиданно для себя он прошептал:

– Хочу касаться тебя, моя...

– Звезда, – из-за спины прошелестел тихий голос, и теплый ветерок вновь коснулся волос, раздувая их в стороны. Саргатанас обернулся. Недалеко от него, опираясь о край ограды, стоял молодой человек. Он был бледен и чем-то действительно напоминал звезды. Саргатанас смотрел на это лицо и не мог насмотреться. Когда-то давно он так же смотрел на небо и умолял: «Просто верните лунные ночи, темные ели, озеро с золотой рябью, ледя-

ную пещеру, мшистые ковры. Я лишь хочу знать, что глаза, которые вижу каждую ночь, смотрят, губы улыбаются, а сердце стучит».

– Я давно тебя не видел, друг мой, – приятный голос вернул его из воспоминаний. Губы парня ни разу не пошевелились, но звук мелодичного голоса отзывался внутри Саргатанаса приятной вибрацией. Он с удивлением уставился на собеседника и, как недавно тянулся к звездам, протянул руку к нему.

– Нельзя... – повеяло со стороны парня, и он отступил, – разве ты не помнишь? Только теперь Саргатанас заметил мягкое свечение, исходящее от собеседника. – Теперь помню, – темный присел на край крыши, там, где заканчивалось ограждение, свесив ноги и устремив взгляд куда-то вдаль. Картинка прошлого блеснула быстрой молнией и исчезла. Он вспомнил их случайную встречу, долгие беседы и занятное другим, все еще любящее сердце парня с грустной улыбкой. Тоска затопила все его существо. Вроде рядом,



но так далеко. Светлый ощущался именно так. Так, как при жизни.

– Помню, как любил и просил Небеса оставить тебя, как скучал... Помню, как тебя не стало, а потом и меня.

Да, теперь Саргатанас действительно вспомнил. Он часто просил забрать его, но тут же запрещал себе даже думать об этом, ведь парень ушел возможно туда, где его ждет любимый, а он... Ему не было места между двумя влюбленными. Темный был в этом уверен, но продолжал любить тихо и надеялся, что незаметно. А потом боль превратила его в пустоту, и тогда он нашел маленькие ножницы.

– Нельзя прерывать свою жизнь, поэтому ты – темный, а я...

– Светлый, – закончил Саргатанас. – Но ты, как и прежде, мне очень дорог.

– Знаю.

Этим вечером в последний раз теплый ветерок прошелся по длинным волосам, поиграл алыми прядями и на прощание погладил по щеке.

2

Услышь мое молчание.

– Ты звал меня, – легким шелестом листьев прозвучал тихий шепот.

Темный, укутанный в свободные одежды, стоял на краю высоты и шаг за шагом отмерял метры на карнизе. Встреча оказалась неожиданностью. Саргатанас не надеялся, что светлый услышит его зов, а если услышит, что захочет прийти.

– Звал. И тогда я тоже тебя звал... Кричал: «Останься!!! Без тебя никак!» – от оглушающего крика поднялся ветер, а птицы тут же взмыли вверх, расправив крылья. – Так боялся тебя потерять и все равно потерял. Знаешь, все было не так и не то! Не получалось у меня жить, да и не хотел я. Ты не приходил ко мне даже во снах, хоть я каждую ночь звал, просыпаясь от собственного крика. Я не мог забыть твои глаза, темные и глубокие. Хотел бы помнить улыбку, но так и не нашел в себе силы попросить об этом раньше.

Немного постояв на месте, будто что-то вспоминая,



светлый спросил:

– За что ты просил прощения? Я слышал.

– За то, что чувствовал.

– Разве за любовь извиняются?

– Да. Если она не нужна.

– Ты слишком жесток к себе, мой друг.

– Но я чувствовал вину! Я и сейчас ее чувствую...

– Поэтому ты наказывал себя?

По спине и запястьям Саргатанаса мгновенно прошла забытая боль, обозначилась вздутыми бороздами. Он нырнул в воспоминания: темная просторная комната, больше похожая на сцену, щедро увешанная девайсами, будто картинами. Он вспомнил пробный щелчок настоящего кнута и жальщую боль от неожиданного удара. Быстрый кивок был ответом, которого ждал себе-седник.

– Без тебя я жил как в аду...

– он обернулся, встретившись с ласковым взглядом. – Ад у каждого свой, вот здесь, – светлый коснулся ладонью себя там, где было сердце, которое когда-то билось.

– Как скажешь, Казмиэль.

Ты простишь меня теперь?

– вдруг получить прощение стало очень важным, и Саргатанас мимо воли замер, боясь пошевелиться.

– Мне не за что тебя прощать. Твоя любовь как способ выживания. Без нее ты меняешься.

Казмиэль вновь теплым ветерком приласкал алые пряди, чуть коснулся щеки и, уже собираясь исчезнуть, обернулся на тихое:

– Кази, я скучал... Очень.

– Знаю.

Саргатанас прикрыл глаза. Боль затопила сознание нахлынувшими воспоминаниями, и одинокая слеза все же прошла влажным следом по его щеке.

3

– Знаешь, я шел сюда, думая, что найду ад, но нашел тебя. Саргатанас присел на край резного карниза и присмотрелся. Внизу, возле высоты, стояли две девушки и громко смеялись, заглядывая в экран телефона. Укрытый тенью статуи, он сливался со стражами этого старого здания, каменными



химерами, поглощенный своими наблюдениями.

– Ты и тогда нашел меня.

Саргатанас не видел, когда появлялся Казмиэль, но всегда чувствовал. В груди росла щемящая нежность. Возникало ощущение, будто то, что желаешь больше всего на свете, рядом – только руку протяни. Это вызывало радость, даже восторг. Но следом приходило чувство тоски. Оно отравляло темного горьким разочарованием. Саргатанас не верил самому себе, тайком вгонял в ладонь острые ногти, проверяя реальность. Светлый был рядом, но ощущался далеким и недоступным, как холодные звезды.

– А потом потерял... В мире людей я чувствую тебя по-другому – все равно всегда скачу. Даже сейчас.

– Знаю. Поэтому вы называете это место адом. Здесь к таким как мы возвращается память, а бывшие эмоции ощущаются сильнее, чем там. Почему-то я привязан к твоим чувствам. Когда тебе плохо, я слышу зов.

Тишина, какой она бывает

только на большой высоте, растеклась по крыше умиротворением. Только так Саргатанас успокаивался. Ненадолго.

– Кази, скажи: Саргатанас.

– Зачем?

– Ты так редко зовешь меня по имени, – шепот отразился от стены надрывной мелодией, когда темный скользнул вдоль нее и приблизился к собеседнику. Заглянул в любимые глаза.

– Саргатанас... – в ответ молчаливыми губами, только еще тише.

Глаза накрыло влажной пеленой, и черные ресницы опустились, пряча ее за густым веером.

– Спасибо...

– И прости меня, Кази, я не в силах исправить то, что чувствую.

4

Этой ночью Саргатанас снова сидел на крыше. Ноги его свисали с края, иногда шевелились от резких порывов ветра. Капюшон ветровки надежно скрывал лицо, сдержанной красоте которого он не придавал значения. В этот раз Сарга-



Henry



танас хотел увидеть яркий бледно-желтый диск луны и уже который вечер следил за облачной высотой. Последние несколько дней небо было затянуто тучами. Они надежно скрывали случайно обозначившиеся очертания луноликого. Темный с досадой отметил про себя, что и сегодня увидеть полный месяц не удастся. Уже давно нужно было искать подопечного, которого следовало искушать, но Саргатанас не спешил.

Ветер усилился, сбивая и без того серые облака в плотные свинцовые тучи. Теплые капли скользили по его щекам, оставляли соленые дорожки и исчезали где-то в спутанных волосах, срываясь с влажного подбородка. «Соленые. Тоскливые. И нет им конца», – повторял он про себя. Этой ночью слезы умывали его лицо, но Саргатанас не чувствовал облегчения. «Кажется, будет дождь», – отметил он меланхолично и утонул в своих мыслях.

– Будет дождь. Тебе не стоит сидеть здесь одному.

Казмиэль, как всегда, поя-

вился неожиданно и принес с собой щемящую нежность.

– Теперь я не один.

– Но по-прежнему одинок.

– Зачем мы говорим об этом, Казми? – Саргатанас оглянулся и поднял ногу на карниз, чуть согнув ее в колене.

– Скажи, каково это – запрещать себе любить того, кого нет? – легким шелестом листьев донесся до него вопрос. В карих глазах Саргатанаса разлилась пугающая чернота, но собеседник, наоборот, сделал два шага вперед, приближаясь к краю крыши.

– Ты сам любишь того, кого нет. Я же прав?

– Ты не ответил.

Чуть помолчав, Саргатанас сдался.

– Это больно. Безумно больно. Ты же знаешь, разве нет? – непослушные губы произносили трудные слова, складывая их в короткие рваные предложения.

«Ты для меня весь мир!» – еле сдержался он, чтобы не крикнуть. Светлый сделал еще один шаг вперед, но, дожидаясь ответа на свой во-



прос, Саргатанас оттолкнулся от края крыши и сорвался вниз, раскинув черные крылья только у самой земли. Дождь давно накапывал свою тоскливую мелодию, обдавал холодным дыханием приближающейся осени.

– Знаю... Только не могу понять, как ты жил с этим так долго, умирая каждый день.

5

«...здесь как в аду. Здесь и есть ад», – тонкие пальцы с заостренными ногтями прошлись по груди, вспарывая кожу. Там всегда пекло и сжималось то, что у людей называлось сердцем... Оно, бестолковое, и тогда не сумело отпустить любовь, а сейчас то замирало, то бешеного билось, сводя с ума. Этой ночью было очень темно. Небеса отчего-то хмурились, собирали мрачные облака в грозовые тучи, но никак не могли пролить дождь на высохшую землю. Черная тень вальяжно расплылась на крыше серыми лохмотьями, растеклась темным пятном. Два угольно-черных глаза, не отрываясь от неба, уловили легкое движение. Тиши-

на, нарушаемая резкими порывами ветра, была какое-то время напряженной.

– Кази, долго ты будешь там стоять? Я хочу тебя видеть.

– Тебе мало, что ты меня чувствуешь? – Казмиэль вышел из пространства, такой же каким был при жизни, такой, каким его запомнил темный. Саргатанас отвернулся, чтобы скрыть довольную улыбку.

– Что-то случилось?

– Попробуй отпустить меня, может, нам станет легче.

– Никогда! – крик вскочившего на ноги разнесся по округе грозовым предупреждением, раскаты грома утонули в башнях пушистых туч, и наконец мелко засеял дождь.

– Тебя это убивает, – упрямые слова коснулись красных прядей. – Отпусти...

– Я давно принадлежу тебе, ты знаешь, и мне совершенно неважно, что протянутое мною сердце так и осталось нетронутым. Для меня ты есть. Всегда далеко, но есть. Даже теперь. Ты же знаешь,



твое счастье никогда не сделало бы несчастным меня. Я бы отпустил. Отпустил к другому. Но не к смерти. А сейчас только сон дает мне возможность обнимать тебя. Просто разреши мне. И все.

6

Красное солнце, завершая свое путешествие, медленно тянулось за горизонт, сегодня в последний раз окрашивая все яркими огненными всполохами. Небо за какие-то минуты стало серым, и только вдалеке было неестественно алым, будто вспышка заходящего светила, мигнув белым, взорвалась кровавым пятном. С севера тянулись тяжелые черные тучи, и холодный ветерок бросал в стекла светящихся окон колкие льдинки с мелким дождем. Осень давно перестала быть очаровательной и милой дамой, но продолжала ласкать эту землю уже остывающей ладонью. Улицы города стремительно пустели, и люди, кутаясь в вязаные шарфы, спешили в свои дома. Там, без сомнения, их ждали любовь, забота и тепло.

Так думал Пашка, чьи мысли долетели до Саргатанаса. Парень брел по проспекту, задевая носком кроссовка маленький каштан, и пинал его дальше, вперед. Его куртка была такая же серая, как он сам... – Удивительное сходство, — цокнул языком Саргатанас, оглядывая с края крыши тонкую съезжившуюся фигуру Пашки.

– Ты очень строг, друг мой, — позади раздался еле уловимый шепот. В паре метрах прямо на мокрых листьях, сбитых сюда ветром, сидел молодой человек, чем-то похожий на своего собеседника. Он был невысок, бледен и тонок. Руки, сложенные на коленях, оставались небрежно вытянуты, а запястья с четко выступающей косточкой свисали, выделяясь белым пятном на невзрачной одежде.

– Он одинок и отказывается мечтать, — продолжая рассматривать паренька, сощурился темный, никого не напоминает?

– Очень трудно мечтать, когда сердце страдает и болит, — ответил светлый. –



Для начала нужно было не убегать, а выслушать. В идеале – услышать и понять.

– Он бережет свои чувства, как и все люди, – от нарастающего раздражения тихий голос стал вибрировать.

– От кого бережет? Их нужно показывать, дарить, говорить! Иначе, накопившись, они сожгут изнутри, – уже не обращая внимания на Пашку, распалялся Саргатанас.

– Он боится очередного предательства. Для него –

это как дежавю. Эта ситуация в данный момент. Вот о чем думает этот человек. Внутри каждого идет борьба, о которой никто не знает.

– Это глупо, страдать и не пытаться выяснить причины.

Город незаметно погрузился во мрак. Улицы давно стали пустыми, и только фонари, освещавшие дорогу, одиноко стояли по обе ее стороны. Ветер усилился, и теперь задорно трепал крас-





ные пряди в черной шевелюре.

– Холодно, – темный потер свои руки и спрятал в карманы, скрывая длинные заостренные ногти.

– Он не замерзнет. Его сердце полно любви, – мягкий голос шелестел совсем близко. – Никого не напоминает? – добавил он, скрывая улыбку.

Со стороны могло показаться, что они ведут скрытую борьбу.

– Тогда пусть не затягивает, иначе превратится в пепел, – оборачиваясь и поблескивая черными глазами, выдохнул тот, чья сущность была такой же темной.

– Когда нашелся наш подопечный, ты изменился, Саргатанас, – протянул задумчиво белый.

– Но мои мечты, как всегда, о тебе, Кази...



Катерина Мухина

РАЗНОСТОРОННЯЯ

— Моя семья говорит, что если я стану лесбиянкой, то они лишат меня наследства.

— Видишь, как хорошо, что ты не можешь стать лесбиянкой, потому что ты би, — Катя смеется, едва не проливая вино на стеклянный стол, сквозь который видно ракушки и искусственные фрукты на подстольной полочке: классика кухонного евроремонта в российских реалиях.

— Нет, ну это да, они имеют в виду, если я начну встречаться с девушкой.

— А ты просто им не рассказывай — У Лизы все просто. Лиза встречается с парнем, который проверяет, как она оделась в бар, и считает, что хорошее в их отношениях перевешивает плохое.

Прячь, скрывай и таи. Раздели жизнь на две части: в лицевой ты флиртуешь с актерами, хочешь поставить

спектакль по собственной пьесе и рассказываешь семье, что твой текст взяли в очередной журнал, на оборотной стороне ты томно глядишь в баре на официантку с татуировкой *bailando* на груди, почти решаешься спросить у нее номер телефона и пишешь о том, что в семье под запретом. Так много тем, на которые можно написать, чтобы лишиться наследства: ЛГБТ, селфхарм, секс, детско-родительские травмы, политика, депрессия. Рассказы, которые я все-таки даю почитать семье, проходят тщательную проверку внутренним цензором.

— Вообще, в прошлом году я каминг-аутнулась перед бабушкой. Это был полный провал, понятия не имею, зачем я это сделала. Не то чтобы я и раньше не говорила семье, что мне нравят-



ся и девушки тоже, но они думали, по юности-глупости можно, перебесится и успокоится, найдет надежного мужчину, родит и все такое. Бабушка тогда сказала, что если я буду так ее позорить, то она уедет жить в Крым. А через полгода начался ковид, деваться ей теперь некуда, она из дома-то боится выходить.

Катя и Лиза сочувственно кивают, передавая друг другу мундштук кальяна. Я преподаю это как смешную историю, и сама не замечая, что ногти впиваются в мякоть ладони, оставляя розовенькие полукружья на линиях сердца, головы, жизни и судьбы, только последней у меня, кажется, нет.

Я откровенничаю больше всего на вечеринках и в текстах, а в обычной жизни всегда выбираю такую свою грань, которая понравится окружающим. Алкоголь и письмо отлично дереализуют, задерживают последствия серой шторкой, шепчут: рассказывай, рассказывай, рассказывай, разве тебе не плевать, что будет потом,

если история хороша?

— А как ты поняла, что ты бисексуалка? — Лиза спрашивает не из праздного любопытства, ей правда интересно. В ее интересе есть что-то от вопросов вроде «а откуда у тебя этот длинный шрам на руке?» или «а почему ты решила, что точно не хочешь детей?», но я достаточно пьяна, чтобы воспринимать неуместное как уместное.

— Так забавно, на самом деле, — вступает Катя, пока я медлю с ответом, выпуская тугой дым кальяна, — вот мы такими просто родились, а у тебя был какой-то поворотный момент.

— Заводские настройки по умолчанию полетели. Что ж, слушайте. Когда мне было девять, я впервые поцеловалась в школьном туалете с подругой. Возможно, она была влюблена, возможно, я ей просто нравилась, но в любом случае это вызвало у меня отторжение. Я не понимала, что существуют другие комбинации кроме привычной с детства «мальчик-девочка». Я рассказала



маме, она так удивилась и ответила, что я придумываю. Моя подруга такая хорошая девочка, она не может быть лесбиянкой.

— У меня, кстати, первый поцелуй тоже был с девочкой. Я вообще целовалась с мальчиками, — Катя загибает пальцы, подсчитывая, — раза в три меньше, чем с девочками.

— А мне до сих пор кажется, что я не умею целоваться, хотя в отношениях почти год.

— Никто не умеет, мне кажется, просто у кого-то это почему-то выходит лучше, чем у других.

Когда я была подростком, моя дважды разведенная мама любила говорить: вот жила бы я в Европе, во Франции, например, нашла бы себе женщину, а тут только эти мужики, которым поголовно подавай лет на десять моложе, без детей и с собственной квартирой. Когда я каминг-аутнулась, она перестала так говорить. Я любила ей напоминать: помнишь, ты же сама говорила. Она долго отнекивалась, а потом зая-

вила, что мы, вообще-то, в России, здесь так не принято.

— Так вот, слушайте дальше, — обвожу взглядом девочек, пытаюсь найти заинтересованность в их глазах, хотя однажды мне сказали, что я из тех, кто дорасскажет свою историю во что бы то ни стало.

— А ты случайно не влюблена в Катю? — Лиза спрашивает с такой уверенностью, что мне автоматически хочется кивнуть.

Я смотрю на Катю — длинные рыжие волосы (у меня столько аудиосообщений о том, как она их красила), зеленые глаза (цвета травы на закатном солнце) и бордовая помада (стойкая, не смазывается).

— Нет, — я нервно хихикаю как школьница, пытающаяся скрыть свои чувства, но я верю в то, что говорю, — она для меня слишком гетеро. Ну я ж себе не враг — влюбляться в кого-то, кто чисто физически не сможет ответить мне взаимностью.

Катя притворно обижается. А может и непритворно, я никогда не узнаю.



В шестнадцать лет, когда я еще делилась всей многообразной love life с бабушкой, я рассказывала ей, как целовалась с девушками. Она слушала и улыбалась как человек, у которого большой кусок лимона во рту. Потом она сказала спокойно, без осуждения, с надеждой наставить на путь истинный:

— Как ты так можешь вообще? Это же мерзость.

Несколько месяцев после этого разговора я искала парня, от которого у меня в глазах запляшут искорки, чтобы поцеловать и сверить бабушкины показания. Парень не нашелся.

— Дайте мне договорить! — я почти кричу, но прикрываюсь шуткой.

— Говори-говори, — устало отзывается Катя. Она всегда берет на себя слишком много, почти не рассказывает о собственных проблемах, зато готова слушать часами голосовые сообщения о Лизиных ссорах с ее парнем и моих неудачах в любовных связях то с актерами, то с барменшами.

— Я была в одиннадцатом

классе и уже пару лет как влюблена в друга, с которым у нас было все очень сложно. Мы договорились, что можем считаться бывшими, хотя отношений как таковых у нас не было, в общем, история для подростковой мелодрамы. И примерно под Новый год я вдруг влюбилась еще и в подругу, с которой мы пару раз до этого целовались, я плавала у нее в ванне голой, но ничего такого. Пик моей личной жизни и клише бисексуальности — быть влюбленной одновременно в парня и в девушку.

— И чем все закончилось в итоге? — Лиза сидит так, что огонь свечки бликует прямо мне в глаза с ее серебряной точки пирсинга в носу. Сережки не бликуют, они прячутся в глубине мелированных волос.

— А ничем, я с ними обоими в итоге перестала общаться.

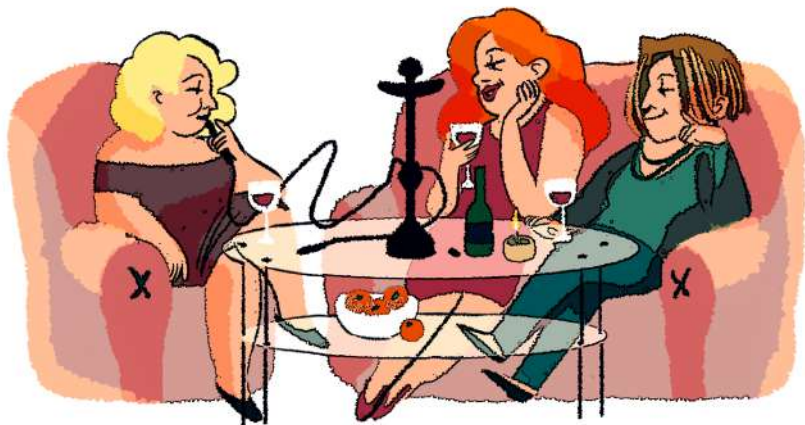
Я потратила три года жизни на то, чтобы произносить эту фразу без накрапывающих слез.

В моей семье живут по принципу don't ask — don't



tell. Когда я подростком приходила пьяная домой, шаталась, хваталась за улетающие стены, то говорила маме, что просто очень устала. Она верила. Или делала вид. Когда меня тошнило в раковину смесью пива, водки, вина и

сухариков, я говорила маме, что просто отравилась пиццей. Она верила. Или делала вид. Когда мама возвращалась с дачи, куда уезжала на выходные, и находила в своей комнате пробку от вина, я говорила, что просто пила с



подружкой. Она верила. Или делала вид.

В моей комнате висит самодельная гирлянда из использованных электронок, я даже предлагала маме попробовать: смотри, вот эта с мятой вкусная. Она все еще считает,

что я не курю. Я писала ей: мам, я переночую у Кати — возвращалась под утро, пьяная и с засосом на шее. Мама молчит и будто бы не видит.

— Мне кажется, что ты хоть и бисексуалка, но больше все-таки по парням, — заме-

чает Лиза.

Перед ответом мне абсолютно точно нужно залпом допить полбокала вина.

— Я не знаю. Я уже ничего не знаю, кроме того, что мне нравятся и парни, и девушки. Раньше для меня это было важнее, я просыпалась ночью в холодном поту и думала — а может, я все-таки гетерофлексибл?

Девочки смеются, и я позволяю им считать это шуткой.

— Нет нормативов по бисексуальности. Мне не придет письмо «уважаемая такая-то, в этом месяце у вас было три сексуальных контакта с лицами мужского пола или причисляющего себя к оному, и только один — с лицами женского пола и так далее, поэтому мы выносим вам предупреждение, если данная ситуация повторится, мы будем вынуждены исключить вас из бисексуального сообщества».

Девочки опять смеются, и здесь я смеюсь вместе с ними. Я не говорю о том, что моя семья и большая часть общества ждет от меня

отношений с парнем, а мне сложно противиться. Они и так это знают, если не знают — мои слова ничего не изменят в их картине мира.

Иван Клиновой

ВОТ ТЫ ВЫХОДИШЬ

Вот ты выходишь из застенков,
Себя собравши из останков:
Ты неврастеник/неврастенка?
Ты иностранец/иностранка?

Ты человек другого пола.
Ты человек – пиши пропало.
Ты выжил в гонках у Ру Пола,
Хотя изрядно потрепало.

Ты доходило до предела
В желаньи удержат кормило,
Но ненавидимое тело
Тебя все время подводило.

А ты хотела быть любимой,
Хотя бы в рамках инстаграма,
Но каждый день проходишь
мимо –
Не по тебе звонит реклама.

Минуя плечи и коленки,
Как не в свои усевшись санки,
Ты возвращаешься в застенки
И превращаешься в останки.





Май Маев

ТВОИ УДЕРЖАТЬ МНЕ РУКИ

Твои удержать мне руки
Так хочется, что нет сил!
И незачем больше от скуки
Страдать – ты так робок и мил.

Не видеть! И сдохнуть от скуки,
Не зная, как робок и мил...
Твои удержать мне руки
Так хочется, что нет сил...

Как близко твое дыханье,
Его б заключить в сосуд,
И наслаждаться им втайне
До самых последних минут.
Что грезится – губы не скажут,
Лишь сердце раскроет секрет.
Услышишь призывы однажды
И дашь долгожданный ответ...

Надежда, как робкая птица,
Вспорхнет чуть повыше в ку-
стах.
Глаза твои будут мне сниться
И сладость на спелых губах.

Обманами жить не умею:
Как жаль, что не царь и не бог,
А то приказал бы лакею,
Тебя не пускать на порог!



Май Маев

ОСТОРОЖНО ДВЕРЬ ЗАКРЫЛ

Осторожно дверь закрыл,
сжал мои ладони –
ты прощаться приходил,
а я и не понял...

Наша быстрая игра
вовсе не для третьих.
В невозвратное «вчера»
мне продай билетик.

Я бы больше не шутил,
молча, сердцем слушал,
как ты из последних сил
прячешь свою душу...

Мне сегодня без «вчера»
холодно до боли...
Наша кончилась игра,
я так и не понял...





УГОЛ ТРЕНИЯ



draw_eat_read

Однажды в тренажерном зале

автор draw_eat_read







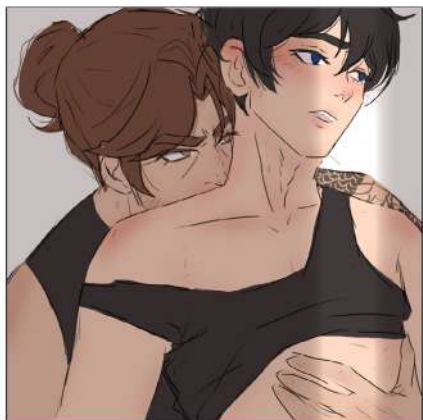
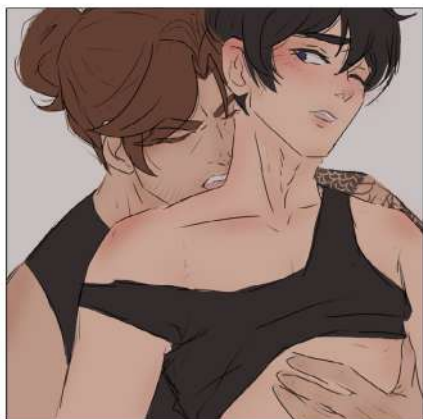
Игорь,
мне кажется,
ты
отвлекаешься



Да?
Тогда...

**слезь с
меня
нахуй!**





Игорь ввяжется в это раз.
И еще раз.
И еще много-много раз.

конец.



Анна Толкачева

СЮРПРИЗ

У кого-то брак держится на детях, у кого-то отношения скрепляет ипотека. Лидочка же была уверена, что лучший способ сохранить брак – это юмор. И вкусный ужин, конечно. Поэтому, когда с порога поманил знакомый запах жареной картошки, Лидия уже знала: ее заждались. Отбросила в сторону чемодан, скинула сапоги и устремилась на кухню осыпать Валерку поцелуями с примесью морозца.

– Сейчас переоденусь и сразу за стол! – взвизгнула голодная Лидочка.

– Сначала нам нужно поговорить, – Валера закрыл дверь кухни, будто они были не одни.

– Обычно так девушки разговор начинают, – Лидочка беззаботно плюхнулась на табурет,

– а ты чего, любовницу в шкафу прячешь? – и тут же прыснула от возможности стать персонажем анекдотической ситуации.

– Ты ведь знаешь, что мы собирались поехать позаниматься на природе с парнем, который ко мне на тренировки ходит? – Валера открыл крышку кастрюли, и кухня быстро наполнилась лимонным запахом маринада.

– Что-то случилось? – Лида посерьезнела. – Поранился?

– Нет, – первый кусок отбивной плюхнулся в шипящее масло, – не то, о чем ты думаешь.

Валера говорил осторожно и мягко. И как раз эта его интонация Лидочке не понравилась. Так говорят с безнадежно больными пациентами коллеги Лидии, перед тем как сказать, что



беднягам осталось недолго. Иногда ей казалось, что она видит чудесный сон о счастливом браке, ведь ничем не заслужила такого мужа. Заботливый, спортивный, легкий на подъем – совсем не такой, какими бывает большинство мужчин за сорок. Чтобы занять чем-то руки, она включила совсем недавно вскипевший чайник.

Интрига щекотала между лопаток, и она поежилась.

– Он перешел на индивидуальные занятия полгода назад, – Валера снял кольцо и положил на холодильник. Он всегда его снимал, когда работал.

– Настроен серьезно освоить альпинизм? Зачем?

К Лидочке вернулось игривое настроение, и она болтала ножкой, закинутой на колено. По пятке задорно шлепал тапок.

– Мечта у него.

Лидия никогда не понимала, зачем люди стремятся покорять вершины. Залезут на гору с риском для жизни, и не успеют спуститься, как

строят планы на новую. Ерунда какая-то. Не мечта, а бездонный колодец. Но спорить не стала. Налила чай. Валера продолжил.

– В группе внимание рассредоточено, нужно успевать отслеживать ошибки у всех. Но один на один...

Валера замолчал и принялся переворачивать стейк.

– Один на один я стал замечать, что смотрю на его руки и думаю совсем не о том, как он держится за выступы на скалодроме. Когда у него футболка промокла насквозь, и он снял ее, то я чувствовал себя так, будто сам выполнил пятьдесят отжиманий на пальцах. Отправил его попить воды, а сам еще долго не мог в себя прийти.

Все время Валера стоял спиной к Лиде. И ей все время казалось, что он улыбается, рассказывая очередную шутку.

– В голову начали долбиться глупые вопросы, например, сколько раз за тренировку я могу



дотронуться до человека, чтобы это еще считалось приличным? У нас все ребята спортивные, но этот эталон просто. Постоянно одергивал себя за то, что пялюсь на него.

Наконец Валера закончил с обжаркой, разложил еду по тарелкам и сел напротив. Капали вязкие секунды молчания. Лида жизнерадостно хрустела картошкой. Валера нарезал стейк на кусочки.

– Потом начал себя ловить на том, что мне хочется слизнуть пот с его шеи. Дошло до того, что я подглядывал за ним в душевой.

Лидочка с молчаливым интересом рассматривала, как тянется с ложки мед и капает в горячий чай. Размешала и, щурясь, облизнула ложку.

При очередном надрезе рука у Валеры дрогнула, и белизну фарфора украсило алым бисером брызнувшей крови.

– Ай! – он зашипел и сунул палец в рот.

– Так вроде у вас одна

душевая, разве нет? Что тут такого? – пожала плечами Лидочка, подула на чай, вытянув губы трубочкой и осторожно отпила.

– Да, но... – Валера продолжил возиться с едой, глядя в тарелку, и Лида улыбнулась, заметив, как мило покраснели кончики его ушей. Он отложил вилку и поднял голову. – Я никогда не лапал парней, ты знаешь. А тут как помешательство какое-то. Мне хотелось зажать его в углу. Прямо там в душевой или в раздевалке.

– Похоже, кто-то пересмотрел видео в мое отсутствие, – подытожила Лидочка, сложила острые локти на стол, переплела пальцы, примостила на них подбородок и впервые с момента встречи пристально посмотрела в глаза мужа. Зрачки его пульсировали, то сокращаясь до спичечной головки, то расширяясь так, что для радужки почти не оставалось места.

– Так вы съездили на скалы? – напомнила о начале беседы Лидочка.

– Мы уже отъехали от



места сбора, как я вспомнил, что забыл свои ботинки дома. Мы поехали за ними. Поднялись в квартиру.

Валера замялся. Напряженное молчание наполняло кухню.

– А дальше? – Лидочка закусила губу. Валера вспомнил, что она всегда так делала, когда бывала на чем-то сосредоточена.

«Интересно, – подумал он, – она закусывает губу, когда накладывает стежки после операций?»

Валере захотелось хоть раз подглядеть за ее работой. Из задумчивости его вывела нетерпеливо постучавшая по его ноге ступня Лидочки.

– Ну чего тянешь?

Валера откинулся к стене и наконец позволил себе расслабить плечи, которые от напряжения начала сводить судорога. Еще немного помолчал, наблюдая, как Лида раскатывает мягкое масло по кусочку выпечки. Улыбнулся.

– Я покажу.

Валера подтолкнул Лидочку в сторону спальни, и она отметила, как быстро

промокла тонкая ткань блузки под его ладонью.

Дверь открылась бесшумно. В глаза бросилось смуглое тело, контрастирующее с белой простыней. Закинутые за голову руки с четким очерченным рельефом мышц. Серебристый скотч от одной щеки к другой. Запрокинутая голова. Торчащий к потолку острый кадык. Впалый живот. Черная полоска трусов. Парень не шевельнулся, когда они вошли.

Отработанным жестом Лида дотронулась до прохладной кожи щиколотки. Присела на край кровати, нашла пульсирующую жилку на шее. Вздрыгнула, заметив, что парень с интересом разглядывает ее. Валера ловким движением фокусника снял скотч и приник губами к припухлым губам. Жилка забилась чаще.

– Третий ведь не лишний, правда?





ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ

— Он тебе жизнь испортил?

Ответа не требуется, но Павел все же кивает. Испортил.

— С северодвинским проектом тогда подставил?

Снова кивок. Подставил.

— Дрянью всякую про тебя рассказывал и клиентов отбил?

Рассказывал. Отбил.

— А когда все просрал, пришел плакаться? Напросился в партнеры? А потом обобрал и без трусов оставил?

Пришел. Напросился. Обобрал и оставил. Все так.

— А год назад киллеров подослал, и ты потом три месяца в коме провалялся?

А вот это не доказано. Хотя... конечно, подослал. Конечно.

— Вот сегодня ты его и уничтожишь. Ты с тех пор поднялся так, что ему и не снилось, такие бабки заработал, что с потрохами его купить можешь. Только вместо этого ты

сегодня его одной подписью в говно вмажешь и разотрешь.

И отберешь даже трусы, пусть с голой жопой ходит. Только, Пашка, ты уж не сдрейфь, ладно? Я знаю, как он тебя ну... в ступор вводит. Не давай ему в мозг себя трахать, ясно?

Павел кивает, правда слышит, как скрипит шея, за деревенев от спазма. Очень хочется что-нибудь разбить. До крови. Просто чтобы знать, что живой.

Гога, лучший друг и по совместительству лучший адвокат города, еще двигает ртом, хлопает по плечу, вдохновляет, как тренер перед главным заплывом, но Павел не слышит. В ушах звучит другой голос. И говорит другие слова. Слова-удары, слова-оплеухи, слова электрический шок...

Но мозгоправ учил, что делать с навязчивыми мыслями. Тара-тара-тара-тара-там...



В голове уже играет «К Элизе» и уносит прочь, туда, где длинные пальцы ласкают белое и черное, туда, где низкий голос с хрипотцой говорит: «Быстрее, Павел, сильнее, добавьте страсти», туда, где — Павел смотрит на часы — где он должен быть через пятнадцать минут.

Гога прерывается посреди пламенной речи:

— Ты куда?

— Сегодня четверг. У меня занятие.

Гога пялится, будто не сразу понимает.

— Ты серьезно? У тебя в пять такое, а ты к своему музыкантишке поедешь?

Осекается, видя тяжелый взгляд. Понимает, перегнул палку. По-дружески обозвать Павла трусом — это одно, а на святое покуситься...

Гога говорит тише:

— Слушай, Пашка, я знаю, тебе это пианино... ну... нервы вправляет... Но ты уверен, что именно сегодня без этого — никак?

Павел прикрывает глаза и затягивает галстук.

— Уверен. Именно сегодня — никак.

У знакомой двери уже поводит, в штанах тесно — от одной мысли, от предвкушения. На пять минут опоздал, но не входить же со стояком. Надо подышать. Павел ждет, прижимаясь лбом к древне-вытертому дерматину. Рука медленно ползет к звонку — нет, не к звонку. К кнопке в ядерном чемоданчике. При нажатии что-то внутри взрывается, и Павел дергается, как от ударной волны.

Из глубины стучат шаги, четкие и размеренные. С аккомпанементом трости.

Три замка. Один заедает. Скрип двери.

— Здравствуйте, Михаэль Лейбович.

— Здравствуйте, Павел.

Всего-то по имени назвал. А сил ответить нет. Десять лет качалки и бокса сдувает взмахом коротких темных ресниц.

Этот, конечно, все знает. Видит насквозь, видит дрожащий покорный комок под грудой мускулов. Видит — и, кажется, недоволен.

— Вы опоздали.

— Простите, Михаэль Лейбо-



вич. Я...

— Будем заниматься на пять минут меньше. Проходите.

Поворачивается спиной. Его решения не обсуждаются.

Павел пялится на идеально прямую фигуру в бархатном пиджаке и шелковых домашних штанах. Все цвета глинтвейна и смотрится на нем так, что Хьюго Босс и Армани, надетые на Павла, кажутся обносками с китайского рынка.

В горле сухо, низ живота перехватывает дрожью, но оторваться от гордого силуэта немислимо.

Михаэлю до этих его взглядов дела нет. Он идет по коридору, вышагивает, будто только что купил эти ноги и хвастается. Есть чем. С ними он циркуль, танцующий по бумаге. Правда, чуть сломанный. С хромотой.

Павел вытирает ботинки, стягивает пальто и идет следом в гостиную, аккуратно ступая по начищенному паркету. Здесь все старинное: часы с маятником, картины, вычурная мебель. Пахнет книгами, музыкой и прошлым. Стены увешаны музыкальны-

ми дипломами и грамотами так, что обоев не видно, на каждой полке — хрустальные награды, золотые статуэтки, призы, свидетельства о Государственных премиях. А посреди всего этого — черный отполированный бог. Бог Михаэля. Павел молится на другое.

Павел разрешает себе один взгляд на диван у стены — туго обтянутый золотистым атласом, с выгнутыми ножками и мягкими подлокотниками. Во рту собирается слюна.

— Садитесь. Готовы?

Михаэль мягко открывает крышку, шуршит нотами, гладит клавиши пальцами — только левой рукой, правая покоится на коленях, наглухо затянутая в темную перчатку так, что почти не видно красных разводов на запястье.

— Начнем с разминки.

Павел послушно играет гамму, простые упражнения, тренирует аккорды. Потом переходит на заученную до зубового скрежета «К Элизе», а попутно выполняет команды: «не зажимайтесь», «отставьте локти», «держите ритм».

Командный голос щиплет



искрами по позвоночнику, до самого зада. Там все сжимается, трепещет. Павел в поту. Чужое тело так близко, так достижимо. Вот Михаэль подается ближе, показывая, как лучше держать кисть. Каса-

ние мозга, но Михаэль все слышит. Недовольно щурится. Поджимает тонкие губы и заставляет еще и еще. И Павел играет, хоть мышцы дрожат, зад на плоской скамье ноет, между ног надрывно пылает.



ется пальцев. Теплый выдох скользит по щеке.

— Теперь сами.

Павел, конечно, все прослушал. Да что там, он едва дышит, хлопает ресницами, возвращаясь в реальность.

Занемевшие пальцы барабаныт по клавишам, мышечная память маскирует отключе-

Не дожидаясь финала, Михаэль встает.

— Продолжайте, — а сам идет назад, к огромному окну. Плотные портьеры вжимают — по гардинам и по нервам, внешний мир гаснет, сгущается темнота. Павел едва различает клавиши, пока рядом не щелкает торшер.



Мягкий шорох. Михаэль садится сзади на тот самый диван, закидывает ногу на ногу, отставляет трость. Павел не видит — чувствует затылком. Он так напряжен, что в последней части не сыграл ни одной правильной ноты.

Михаэль согласен.

— Отвратительно. Ужасающее чувство ритма. — Он чем-то шуршит, но чем — неясно, а повернуться не получается, шея застряла. Наконец снова тишина. — Теперь раздевайтесь.

Павел вздрагивает. Голос стреляет электрическим разрядом по члену. Клавиши брякают под кулаком.

— Что, простите?

— Раздевайтесь. — Михаэль молчит, словно задумавшись. — Снимайте ботинки, носки и брюки с трусами. Остальное пока оставьте.

Павел медленно встает. Глаза держит на ботинках. Ставит ногу на скамью...

— Не на банкетке!

Ах да, святое...

Павел послушно опускает ногу на пол. Тянет шнурки, носки, бренчит пряжкой. Ощущение нереальности.

Щеки жжет, ягодицы сводит, почему-то сладко тянет соски. Он немного дышит, прежде чем спустить брюки, а вот трусы стягивает рывком.

— Хорошо. Идите сюда, — Михаэль хлопает ладонью по коленям.

Вот. Вот это движение бледной руки, вот оно — рычаг, срывающий последние блоки. Оно продевает крючок сквозь мозг и тянет ближе, шаг за шагом, пока Павел не укладывается животом на обтянутые шелком колени, не обхватывает пальцами подлокотник, не утыкается носом в обивку дивана. Вот теперь можно точно все отпустить.

Долгое время Михаэль мучит. Не делает ничего и даже, кажется, не дышит, а Павел глухо стонет. Пожалуйста...

И вот — ладонь на ягодице. Легко гладит. Ласково, почти невесомо, скользит вниз к пяткам и возвращается на мягкое. От предвкушения и щекотки сводит мышцы, волоски на ногах встают на дыбы.

Павел двигает бедром. Самую малость, подвинуться ближе он не смеет. Мечтает-



ся, как же мечтается узнать, возбужден ли Михаэль. Но трогать нельзя. Однажды попробовал — его мигом выставили за дверь. С тех пор он знает свое место. Знает — но каждый раз надеется. Желание Михаэля — страшная и заветная тайна.

Где-то глубоко внутри рождается скулеж. Очень, очень хочется, чтобы уже. Пожалуй-ста. Сегодня очень нужно...

Удар приходит без предупреждения. Павел дергается, прикусывает язык, бьется головой в подлокотник, но это неважно, потому что зад обжигает новая нужная боль. Вибрация стреляет в промежность, отдается в члене, поджимает яйца. Так остро, так ярко, вспыхивает красным под веками. Ладонь опускается снова и снова, на одну и ту же ягодицу, немного меняя место и ритм и — черт побери — какая же у него сильная левая.

Передышка. Кровь стучит в висках. Член липнет к шелковым штанам. Зад с одной стороны пылает, с другой — трепещет в ожидании. Павел натужно дышит, стискивает кулаки, скрипит зубами.

А Михаэль немилосерден. Снова обрушивается на первую. Павел хнычет, дергается, пытаясь отстраниться, но делает только хуже, больнее.

Михаэлю не нравится. Он любит полный контроль. Цокнув языком, пропускает правую руку под живот, прихватывает пальцами в перчатке яйца и основание члена и держит в захвате. Павел смиряется. Теперь и вдохнуть страшно. А Михаэль бьет снова. Доводит до края, до темноты, до боли, так, что каждый удар вырывает вскрик — и только тогда переключается на другую сторону. Хлопает ее жестко — и Павел стонет. Господи, как же хорошо.

Вскоре обе половинки одинаково в огне — и Михаэль сбавляет ритм. Темная перчатка падает на пол. Больная рука пробирается по пропетеваемой рубашке и цепляется в волосы. Тянет. Эти пальцы плохо гнутся, но держат мертво. Павел прогибается в пояснице — и тут же подпрыгивает от удара. Другого. Третьего. Много. Много ударов. Дыхания не хватает. Ресницы мокнут. Боль такая,



что хочется увернуться, освободиться, сбежать, но рука в волосах именно для этого. Удержать, заставить терпеть до того момента, когда боль станет такой давящей, всеобъемлющей, тупой, что сильнее ее — только дрожащее удовольствие в члене. Каждый удар дергает тело, жестко вбивая пахом в гладкий шелк на коленях. Павел на самой грани, еще пара касаний — и кончит.

Михаэль все знает.

Ладонь вдруг приходит с лаской. Скользит по больному, нежит, успокаивает. Надавливает так, чтобы он опустил одну ногу на пол. Чтобы раскрылся, стал беззащитнее. Так больше стыда. Больше остроты. Больше доверия.

Искалеченная рука отпускает волосы. Ведет вдоль позвоночника вниз, до поясницы, а потом исчезает. Павел дышит так громко, что едва слышит щелканье латексной перчатки, хлопанье смазки. Зато прикосновение влажного ходода к промежности ощущает всем телом. На мгновение зажимается, а потом отпускает. Подается навстречу.

Пальцы в латексе трогают, мнут, надавливают. Ныряют в уже готовое и выходят растягивая. Возвращаются. Замирают. Неглубоко, но внутри распирает идеально, не дает забыть, что его сейчас еще и имеют.

Челюсти сводит от напряжения. Вот же. Вот оно.

Удар.

Павел вгрызается в подлункотник. Ягодицы, анус, промежность — все в огне.

Игры кончились. Все по-настоящему. Рука бьет четко, быстро, по чувствительному, оголенному, прекрасному, больному. Все смешалось, растворилось, границы размыты. Павел сейчас — одна сплошная сладкая рана. Он рычит и бьется, а внутри медленно, с нарастанием, поднимается все самое темное, обидное, злое, унижительное, оно гремит, орет, скручивает душу виной, мутит тело ненавистью и страхом — и наконец выжимает до капли, выплескивается на шелк. А из груди рвется сухими рыданиями.

Павла трясет, вновь и вновь накрывает темнотой, но боли больше нет. Только ладонь



гладит по волосам.

— Молодец... ты такой молодец... я так горжусь...

Рыдания идут еще, сжимая спазмами горло, царапаясь где-то в желудке, стучась ударами в ребра, и Павел позволяет. На щеках впервые настоящие слезы.

На смену им приходит улыбка. Такая, которую не спрятать, даже если захотеть. Но прятать и не хочется. Павел лежит, отмирая, пока промежуток обтирают влажными салфетками, а горячие половинки смазывают мазью. В воздухе знакомый запах мяты. В голове стучит: «Спасибо. Спасибо за это...» Хочется лежать на этих коленях вечно.

Часы с маятником глухо бьют, отсчитывая новый час.

— Занятие закончено. Вам пора.

Павел сползает на пол. Садится между колен и ждет. Ведь с недавнего времени ему позволяют кое-что еще.

Михаэль обтирает штаны полотенцем, стреляет глазами на часы, а потом вздыхает. Кладет руки на колени ладонями вверх. Замирает, когда Павел опускает на них лицо.

Любимые руки. Одна горячая, припухшая, покрасневшая от ударов. Вторая — скрюченная, словно сшитая из кусков материи. Красивые. Пахнут заживляющим кремом и латексом. Чуть дрожат. Касаются подушечками пальцев.

Павел прижимается губами:

— Спасибо, Михаэль Лейбович.

— До следующего занятия, Павел...

На улице Павел набирает полную грудь хрусткого зимнего воздуха, прежде чем сесть в машину. Зад болит и немеет, и это самое гордо-отрезвляющее чувство. Правильное. Приятно смаковать. Вскоре за окном стелется голый город, а Павел улыбается.

Он все еще улыбается, приехав в офис. Улыбается, получая последние наставления «ты его уничтожишь одной подписью, только не сдрейфь», улыбается, когда в пять часов открываются двери совещательной.

Там он уверенно садится в главное кресло, уверенно подает знак Гоге начинать.

Уверенно говорит:



— Здравствуй, отец.

У знакомой двери Павел расправляет плечи. Опять опоздал, надо поторопиться, и он тут же нажимает на кнопку звонка.

В глубине слышны шаги, четкие и размеренные, с аккомпанементом трости.

Три замка. Один заедает. Скрип двери.

— Здравствуйте, Михаэль Лейбович.

— Здравствуйте, Павел. Вы опоздали.

Темные глаза смотрят изучая. Впервые становится интересно: а сколько ему? Всегда казалось, он старше, но ведь это не так. Ну может, на год-два? Тяжело, наверное, в тридцать карьеру терять.

— Пробки, Михаэль Лейбович.

— На пять минут будем заниматься меньше.

Павел улыбается:

— Успеем.

Стучит трость, циркуль отмеривает паркет — и только сейчас видно, как он морщится при каждом шаге, когда думает, что не видно. Совсем больно ходить? Наверное,

можно найти массажи... Или обезболивающие...

Голос из гостиной интересуется:

— Вы сегодня в коридоре будете заниматься?

Павел делает шаг и впервые понимает: паркет скрипит. А еще, за старинными часами с маятником — протертость на обоях. А куцее пальто на вешалке — совсем не подходит нынешней зиме.

Павел спешит по скрипучей «елочке». Садится на банкетку. Открывает ноты. Делает упражнения, и ему впервые интересно. Голос Михаэля так же пробирает, но теперь удастся услышать слова. Прислушаться. Сделать все, как надо. В глазах Михаэля удивление и улыбка. Они занимаются увлеченно, гораздо дольше обычного, а когда подходит время «К Элизе», Павел играет — но уже не просто мышцами. Музыка плывет из груди, и пальцы — только проводники для чувства.

Михаэль слушает до конца и долго молчит вглядываясь. Надо же, глаза у него, оказывается, не карие, а темно-синие, с каким-то сливовым



оттенком.

— Это было... очень хорошо.

— Спасибо, Михаэль Лейбович.

Словно опомнившись, Михаэль идет к гардинам. Скрывает внешний мир. Садится на диван.

— Раздевайтесь.

Сегодня все по-другому. Даже его приказ — больше просьба. Он будто тоже чувствует.

— Ботинки, носки, брюки. Пиджак тоже снимите.

Почему он всегда оставляет рубашку? Потому же, почему сам не снимал поначалу даже перчатку?

Павел делает, как сказано, только вдруг задумывается. Не дожидаясь приглашающего хлопка рукой по коленям, сам идет к дивану, садится рядом и на вопросительный взгляд говорит:

— Михаэль Лейбович... а давайте чаю попьем?

Сливовый взгляд скользит по лицу, вниз между ног, где перемена настроения еще яснее, и Михаэль сжимает губы. Тикают в коридоре часы, за стенкой говорит радио. Бедные соседи. Не повезло рядом

с учителем музыки жить. И вот небось удивляются, почему это каждый четверг обычные занятия перетекают в рычания дикого зверя.

Почему-то вспомнилось, как он пришел сюда впервые. Нет, все началось задолго до этого, да?

Тогда, год назад, после нападения и комы, когда стало ясно, что мозгоправы не помогают, Павел решился на запретное. Пошел на тематический сайт. Списался с подходящим человеком, таким же новичком, готовым помочь. Условие «не раздеваться» не напрягло — подумаешь, у кого какие кинки. Договорились о встрече. Павел пришел в клуб, подсел за столик к этому гордо-надменному человеку с темной перчаткой на правой руке, а спустя пять минут струсил. Извинился, залепетал, сбежал. Слишком все стало реально, слишком в этом человеке было много силы, слишком он был тем, что нужно. А дальше — очередные кошмары, выпивка и многочасовые сессии с мозгоправами. И внезапное решение заняться музыкой — с детства



же мечтал. А там — форум, отзывы, «лучший учитель города». Сталинский дом, дребезжащий лифт, дверь, обитая дерматином. А на пороге — он. В своем бархатном пиджаке и шелковых штанах. Павел еле доплел до гостиной,

придавленный строгим взглядом, хоть не было и намека, что учитель его узнал. Зато через полчаса занятия, как раз после «держите спину» и «не зажимайтесь», прозвучал этот же спокойный голос: «Если хотите, можем попробовать



сессию здесь». И Павел пропал, провалился в эту бархатно-шелковую бездну, которая раз за разом топила, словно котенка, а потом вытаскивала на поверхность — так высоко, как он не мог забраться с тех пор, как проснулся из комы.

Теперь же бездна совсем нестрашная. Павел, кажется, научился плавать сам.

Он смотрит на своего учителя и ждет. Прогонит?

Михаэль потирает руку в перчатке, будто замерз.

— Я так понимаю, вы научились тому, за чем пришли.

— Да. Спасибо вам, Михаэль Лейбович. Спасибо вам большое.

Михаэль чистит горло.

— Что же, значит, это наше с вами последнее занятие...

Эмоций в словах меньше обычного, говорит, будто робот.

Павел берет с колена руку в перчатке и аккуратно стягивает ткань. Наконец задает вопрос, что зудел каждый четверг.

— Авария?

— Да, — Михаэль сглатывает. Кадык взволнованно дергается. — Сам виноват.

Павел склоняется. Целует в середину ладони, откуда расходятся красно-рваные лучи.

— Михаэль Лейбович... Я освоил тот материал, за которым пришел, но... — он следит шрамы, гладит подушечкой пальца. — Может, мы попробуем что-нибудь более продвинутое? Например... игру в четыре руки?

Часы с маятником отбивают новый час.

Скрюченные пальцы сжимаются, Михаэль резко выдыхает. Поднимает покрасневшие глаза.

— Занятие закончено, Павел. Вам пора.

На улице Павел набирает полную грудь хрусткого зимнего воздуха, прежде чем сесть в машину. Внутри едкая пустота. Он хлопает дверцей, вставляет ключ, берется за руль...

В кармане брюк вибрирует телефон. Открыв сообщения, он читает. Губы растягиваются в улыбку.

«Как насчет трех с половиной?»



Мелина Дивайн

ВЕЛИКАН



Корабль Дика называется «Звезда Востока». «Звезда Востока» возвращается из Бомбея. Перри знает, что корабль прибудет утром, но также знает, что сначала Дик поедет домой, к жене и сыну, и Перри сможет обнять его только поздно вечером, ближе к ночи, когда в окна бара будут глядеть электрические

фонари, а Перри будет поднимать стулья и, перевернув их, ставить ножками вверх на столы и барную стойку.

До того момента, как он наконец сможет обнять Дика, еще много-много часов, минут, секунд. «Времени целый рундук», как любит говорить Дик. И Перри мог бы проснуться позже (на работу он



ходит обычно к четырем часам дня), но он встает в пять утра, когда на улице совсем темно, небо еще не занялось розовым и оранжевым, а опоры Бруклинского моста, которые он каждый день видит из окна своей крошечной каморки на Атлантик авеню, едва можно различить в густом влажном сумраке ноябрьского утра. Перри так привык к ним, сжился с этими опорами, что, даже когда в темноте невозможно угадать их силуэты, он будто чувствует их, уверен, что они есть и они на месте – гигантские крепкие ноги каменного исполина.

У Дика большие серые глаза под тяжелыми нависшими веками, выступающие надбровные дуги, широкий нос с глубокой переносицей, крупный рот и щель между двумя передними зубами. У Дика широкое лицо и сероватая кожа со следами от оспин на щеках и висках, огромные шершавые ладони с пожелтевшими от табака пальцами, толстая шея, а грудь такая, что не обхватишь руками. Дик в прошлой жизни мог быть быком или буйволом со свире-

пым разветвлением мощных рогов на черной внушительной голове. Дик в прошлой жизни мог быть самым Зевсом, Громовержцем в обличье быка. Но в этой, в этой Дик – дух Бруклинского моста. Перри в этом не сомневается. Дик – исполин, мост-великан.

Дик ходит в море. На большом торговом судне. У Дика прелестная маленькая жена. Француженка. Марион.

У Дика сын. Филипп. Шестилетний мальчишка.

Перри их любит – Филиппа, Марион. Так же, как Дика. Не меньше, чем Дика, лишь потому что Филипп и Марион – его сын и жена. Первый раз Перри видел их воскресным утром на бруклинском блошином рынке. Дик обмолвился накануне, что они туда собираются. Марион обожала всякие милые безделушки, и Дик, если в то время не находился в рейсе, был не прочь вместе с ней прогуляться по рынку. Он тоже любил их разглядывать – все эти хрупкие статуэтки, светильники и кофейные пары, разноцветные бусики и старинные потемневшие броши. Ему нравилось



брать их в руки и чувствовать пальцами, что эти вещи когда-то кому-то принадлежали, были дороги, любимы, важны или же, напротив, совсем безразличны.

Перри не думал, что будет за ними следить. Следовать тенью от самого дома. Но ему невыносимо хотелось, совершенно непреодолимо – увидеть Дика. Они и так виделись слишком редко, и потом каждый раз их разлучал океан! Какая это была мука и какая тоска! Месяцами не слышать, не чувствовать, не прикасаться! И Перри был готов стать тенью, чтобы только еще раз в толпе ненароком посмотреть на Дика и после вдохнуть полной грудью холодный воздух, чтобы расправились легкие.

Сначала Перри видит их со спины – Филиппа и Марион. На ней темное синее пальто и маленькая черная фетровая шляпка. Марион идет под руку с Диком, а Филипп держится за ее ладонь. На нем шерстяные шорты, высокие полосатые гольфы, серое пальто и коричневая мягкая бархатная кепка. Время от времени он подпрыгивает, не

выпуская из своей руки материнскую ладонь. Филипп рослый – высокий мальчишка. На рынке Перри удастся его разглядеть. Черты лица совсем не те, что у Дика: заметно тоньше, мягче, изящнее – унаследовал от матери, зато от отца досталось крепкое, ладное, сильное тело. Отец-громовержец, воплощенный в Дионисе-сыне. Перри про себя улыбается...

В плаванье Дик пишет Перри редкие письма. Перри их обожает. Благоговееет перед этими строчками. Прижимает к себе, пытается среди запаха океана, почтовых вагонов и десятков чужих рук уловить запах Дика, его кожи, волос и тяжелого пота.

В этот раз Перри получает два письма.

Первое:

«Дорогой мой Перри!
Как дела, дружище?

Мы еще в пути. Задерживаемся из-за шторма. Должны уже были быть в Бомбее, но теперь сидим, словно птицы по клеткам. Шконка, стол, стул, рундук. Ох, Перри! Как мне это осточертело!

Я много читаю, так время



идет быстрее. Перечитываю Уолта Уитмена. Думаю о тебе. Все же старик был прав! Во всем прав!

Что нового ты написал за это время?

Знаешь, Перри, если бы ты дал мне своих стихов, хотя бы несколько. Но только перепиши их сам, от руки. Заклинаю, не на машинке! Пожалуйста, не забудь.

Надеюсь, ты в добром здравии, и ничто тебя не мучит.

Передавай привет Олли.

Всегда твой. Дик П. Хартман»

Второе:

«Дорогой мой Перри!

Мы в Бомбее третьи сутки. И я третьи сутки страдаю от расстройства желудка. Страшная жара! Не понимаю, как здесь можно жить? Вся эта суета, толкотня, разноголосица. И жара!

Я люблю Нью-Йорк, Бруклин, Проспект-парк, Бруклинский мост, каким он виден из твоего окна. Это для меня – простор и свобода. А здесь мне тесно, и, наверное, слишком ярко. Не привык я к таким краскам, Перри. И к таким запахам. Сколько ни

бывал в Индии, не могу привыкнуть.

Вчера для нас пели и танцевали хиджры. Рассказывали я тебе о них? Они считают себя женщинами, заключенными в тела мужчин. Одеваются как женщины, носят сари и украшения, отпускают длинные волосы. Здесь, в районе порта, их много. Шумные и крикливые, хотя голоса у некоторых совсем мужские – низкие и грубые. Хватают за рукав, просят денег или предлагают себя. «Эй, господин, попьем чаю?» Отбиться от них невозможно. Когда говоришь, что не нуждаешься в их услугах, хиджры злятся, плюются скверными словами, точно змеи. Индусы верят, что эти мужеженщины могут наслать проклятье, обладают некой магической силой. Обидеть хиджру никто не отваживается. С одной стороны, их почитают как божеств невысокого ранга, приглашают на разные торжества. Хиджры благословляют молодоженов и новорожденных. А с другой, к ним относятся как к низшим, самым презренным существам, никогда не поса-



дят за общий стол. Их боятся и стараются лишний раз не прикасаться. Не могу понять, Перри, как такое возможно? Быть божеством и презираемым существом одновременно. Ты можешь это понять?

Некоторые из них дивно танцуют, вовсе неотличимо от женщин. И с виду тонкие и нежные. Кое-кто из наших матросов говорит, что хиджры искусны в любовных утехах.

Напиши что-нибудь о них.

Надеюсь, ты не скучаешь.

Передавай привет Олли.

Всегда твой. Дик П. Хартман»

Они познакомились в том же стиле ветреном ноябре, только почти год назад, в баре «Энигма», известном мужчинам, алчущим запретной любви. Матросы, «королевы», проститутки, мелкие служащие – основной контингент «Энигмы». Дик не был похож ни на одного из обычных посетителей бара. Большой, хмурый, с тяжелым взглядом серых усталых глаз, он, казалось, не искал знакомств определенного свойства, даже не смотрел по сторонам – потягивал виски,

сидя у барной стойки. Перри не видел его прежде: такого великана он бы непременно запомнил. Хотя Дик был здесь не впервые – это Перри понял по тому, как Дик общался с барменом, словно со старым знакомым. Впрочем, скорее всего, дело было в том, что Перри устроился работать в «Энигму» месяца три назад, а Дик, вероятно, все это время был в море, и вот – вернулся.

Дик остается до самого закрытия. Он продолжает сидеть на высоком табурете у стойки, когда Олли, бармен, начинает прибираться на своем рабочем месте, а Перри берет в руки швабру и принимается выметать мусор между столиками в зале. Дик поднимается со своего места, лишь когда швабра Перри задевает ножку его табурета.

– Как тебя зовут, парень? – просто спрашивает он. – Я не видал тебя раньше.

– Это Перри, – откликается из-за стойки Олли. – Он у нас новенький. Перри не очень-то разговорчив. Я бы на него не рассчитывал, Дик.

– Я бы на него не рассчитывал! – раскатисто смеется Дик.



– Спасибо, Олли!

В тот вечер Дик прилично набирается, хоть и не до того состояния, чтобы ходить как по палубе корабля в беспокойном море.

Олли наводит порядок и прощается. Они, Дик и Перри, остаются одни. Перри обычно уходит последним, после того как протрет все столики, поставит на них стулья, подметет и вымоет пол, вынесет мусор. У Перри есть ключи от бара, он его закрывает.

Дик не умолкает все то время, что Перри прибирается. Хотя Перри едва ли говорит больше десятка слов. Слова вообще даются ему непросто. Так повелось с детства. Перри родился на месяц раньше срока, и его крестная рассказывала, что он не дышал, когда появился на свет. Думали, младенец умер в утробе. Но через несколько минут он закричал. А когда пришло время начать говорить, от него не могли добиться ни звука лет до пяти. Перри был странным, мрачным ребенком. Не застенчивым – нелюдимым. Отчужденным, ни к кому не привязанным. Он будто жил

в мире своих грез и фантазий, но о чем он грезил, было известно лишь ему одному. Мать считала, он идиот, умственно неполноценный, что он никогда не сможет учиться. Мать уходила утром на фабрику, оставляла его одного до глубокого вечера. Перри весь день был предоставлен самому себе. Больше всего он любил забираться на подоконник и смотреть из окна: на экипажи, прохожих, бродячих собак, плывущие по Ист-Ривер пароходы. Однажды (его мать была на работе) в дверь их квартиры постучали, и когда Перри ее отворил, увидел миссис Эджвик, их новую соседку с верхнего этажа. Она держала в руках тарелку с морковным пирогом, нарезанным большими квадратными кусками.

– Твоя мама на работе? – спросила она и вытянула шею, заглядывая в квартиру. – Я испекла морковный пирог. Ты любишь морковный пирог, малыш?

Пирог был вкусный, еще теплый. Перри снова залез на подоконник и прильнул к окну. Рона Эджвик стояла рядом и смотрела на него, на



то, как он уплетает пирог. Говорить Перри не хотелось, но ужасно хотелось, чтобы Рона осталась. Он не знал, что ему сделать, как дать ей понять, чтобы она не уходила. Слезы подступили к глазам, Перри был готов заплакать. Но он лишь вытянул руку и показал на рабочих, которые крепили вывеску на козырьке дома напротив.

Рона потрепала его по волосам и вдруг спросила:

– Хочешь, я тебе читаю? У вас есть книги, Перри?

Он покачал головой. Книг дома не было. Перри не умел читать. А через месяц ему должно было исполниться девять.

Тогда Рона сказала:

– Пойдем-ка ко мне. У меня много книг. Мы обязательно найдем что-нибудь интересное.

Рона была в прошлом скрипачкой, играла в оркестре, но с музыкой распрощалась несколько лет назад, когда пальцы стали совсем непослушны из-за артрита.

Когда они поднялись к ней, Рона взяла из книжного шкафа книгу в синей обложке,

протянула Перри. Он принял ее как драгоценность. Не видел ничего прекраснее прежде. На синей обложке вышагивали золотые слоны с могучими бивнями, впереди великанов шел человек в коротких широких штанах, с большой бородой, и на самих слонах тоже сидели люди.

– Эта книга называется «Книга джунглей». Тебе должно понравиться.

Рона открыла книгу и полилось волшебство. Перри смотрел на нее, как заворуженный. Не мог оторвать взгляда от губ, которые складывали буквы в слова, порой такие замысловатые, что они напоминали ему диковинные цветы или насекомых, которых он никогда не встречал, но в своем воображении представлял очень живо.

Перри с ужасом думал, что научиться читать невозможно, что лишь люди, подобные Роне, способны овладеть этим волшебным занятием. Но он ошибался. По «Второй книге джунглей» Перри уже водил пальцем, сначала старательно повторяя за Роной буквы и слоги, а вскоре, сам, без под-



сказки, читая слова целиком. Потом были Стивенсон, Рид, Лондон и Купер... и дальше поэты: Дикинсон, Уитмен, Китс, Байрон, Блейк и тот же Киплинг, но уже стихотворец. К двенадцати Перри прочел все, что было в доме у Роны, и та начала приносить ему библиотечные книги.

– Ты и впрямь неразговорчив, – приходится признать Дик, когда они выходят на улицу; Перри закрывает бар и теперь собирается домой. – Или тебе просто противно со мной говорить?.. Моя жена, Марион, меня долго пугалась. Верно с полгода, как мы познакомились. Называла *géant laid*. Безобразным великаном. Если б ты знал, как она на меня смотрела! – смеется Дик, и после бессильно опускает голову. – Я и вправду так ужасен, Перри?

Перри смотрит Дик, в глаза и качает головой.

– Сегодня я пьян и домой мне лучше не соваться. Марион никогда не бранит меня, но смотрит так... знаешь? А я этого выносить не могу. С ума схожу от ее взгляда. Будто я преступник какой...

Они идут вместе по спящему городу. У Дика пальто нараспашку, изо рта вырывается пар и видно, как под рубашкой вздымается грудь великана.

В комнате Перри, когда они в нее входят, как и во всей квартире, пахнет жареным луком. Холодно. Они не снимают пальто. Света Перри не зажигает. Дик часто дышит, слышно, как он протягивает руку. Касается пальцами щеки Перри и его волос. Наклоняет голову, забирая своим ртом его губы, властно, но вместе с тем очень нежно, будто опасаясь причинить невольно боль или неудобство.

Когда они ложатся в постель, Дик обнимает Перри, сжимает плечо огромной ладонью, благодарно целует в волосы чуть выше виска и спустя минуту-другую засыпает.

Утром, когда Перри открывает глаза, за окном сыплет снег: за большими белыми хлопьями почти не видно опор моста. Рука Дика покоится у Перри на животе...

Другим холодным, уже зимним утром, Перри просыпается на кухне. Шея затекла,



а руку, на которой уснул, он и вовсе не чувствует. Перри с трудом поднимает голову, видит исписанные листы (прямо перед ним, на столе), а еще Дика, стоящего рядом. Тот вчитывается, силится разоб-
брать под пометками строчки. Сколько он успел прочесть?

Перри щурится и недоуменно моргает. Он вовсе не злится на то, что его тайна раскрыта. Просто... все вышло слишком внезапно, и он очень растерян.

– Почему ты ничего мне не говорил? – удивляется Дик.

– Ты думал, я не пойму? Буду смеяться?

Перри молчит и не двигается с места. Дик знает, что слова Перри даются непросто. Он обнимает его сзади за плечи и говорит:

– Позволишь мне их прочитать? Пожалуйста, Перри...

Из следующего рейса Дик привозит Перри печатную машинку – тяжелый черный Ремингтон в большом жестком футляре. Перри не знает, как его благодарить. Машинка казалась ему такой недостижимой роскошью, что Перри даже о ней не мечтал. Перри кидается Дикю на шею,

с жаром целует везде, куда попадает губами: в висок, в мочку уха, в подбородок, под подбородком, в крахмальный ворот рубашки.

– Обещай, что перепечатаешь стихи на машинке и отправишь в журналы, – требует Дик.

Перри колеблется.

– Если ты этого не сделаешь, я сделаю сам, – почти угрожает он. – Ну же, Перри, – говорит Дик уже мягко, – будь умницей.

Корабль Дика называется «Звезда Востока». «Звезда Востока» вернулся из Бомбея. Перри знает, что корабль прибыл утром, но также знает, что Дик поехал домой, к жене и сыну. Уже поздний вечер, в окна бара глядят электрические фонари; Перри поднимает стулья и, перевернув их, ставит ножками вверх на столы и барную стойку.

Когда Перри слышит долгожданный стук в дверь, его сердце заходится радостным криком. Когда Дик сгребает его в охапку и крепко прижимает к себе, Перри лишь шумно выдыхает воздух,



пряча лицо на груди, что не обхватишь руками. Дик целует Перри в макушку, шепчет:

– Соскучился, соскучился...
Мальчик мой милый...

У Дика с собой бутылка молодого красного и подарок для Перри – фигурка танцующего Шивы.

В квартире Перри, когда они в нее входят, пахнет мясными обрезками (у Меган три кошки) и чем-то кислым, похожим на молочную сыворотку. В комнате они снимают пальто. Перри привстает на носки, тянется к Дику, обви-

вает его шею руками. Целует. Нетерпеливо и жадно, так, будто боится, что Дик вот-вот ускользнет. Перри нравится, что рот Дика пахнет отсыревшим едким табаком, и жесткие пожелтевшие пальцы пахнут папиросами.

Потом они ложатся в постель, и Перри прижимается к рубашке Дика щекой, тянется к пуговицам, расстегивает. Под верхней рубашкой у Дика нижняя, нательная, с мягким круглым воротом, желтоватая от носки и частых стирок. Она свежая, только надетая,





но уже вбирает в себя запах Дика, начинает пахнуть им, его тяжелым крепким потом, от которого у Перри кружится голова и покалывает кончик языка.

Они занимаются любовью, Дик входит в тело Перри тугими неспешными толчками, кровать поскрипывает им в такт, Перри слышит, как за стеной в соседней комнате, кошки Меган гоняют что-то по полу, пустую катушку...

Когда Дика захлестывает оргазм, он прикрывает глаза, его только что напряженное лицо разглаживается, он выдыхает, потом улыбается, скатывается с Перри, ложится рядом, шепчет:

– Как же хорошо... Господи... Перри...

Они лежат так с минуту, может, чуть дольше, потом Перри пытается подняться, но Дик не хочет его отпускать:

– Не уходи. Пожалуйста, полежи со мной еще.

Перри делает жест, давая понять, что ему непременно нужно встать – он возьмет кое-что и сразу вернется. Дик его отпускает, и Перри встает, зажигает настольную лампу,

берет со стола толстый журнал, протягивает его Дику. Это поэтический «Чойс мэ-гэзин». Дик быстро просматривает оглавление. Находит стихи Перри, открывает на нужной странице, чтобы убедиться, что они там на самом деле есть – напечатанные в типографии, разлетевшиеся по всей стране...

Перри сияет. Забирается к Дику под одеяло.

Дик его крепко целует в макушку.

– У тебя получилось! Получилось! Черт тебя подери! Перри! Я так тобой горжусь!

НЕ ДЕТСКИЙ ВОПРОС



КУКЛЫ

2000

Однажды, когда Ваня ходил в детский сад, ему захотелось поиграть в куклы.

Не то чтобы Ване не нравилось играть в машинки, солдатиков или конструкторы, а на самом деле ему все игрушки нравились. Но в садике все было разделено на мальчишечье и девчачье. Мальчишки играли одними игрушками, девочки Другими. Вместе они могли играть только в догонялки или в прятки. Ну, или замки из песка строить.

Первое время Ваня даже не задумывался, почему так, просто принимал негласные правила. Но однажды он задумался: «А почему нам нельзя играть в куклы, а девочкам в машинки?»

Он даже немного завидовал девочкам. Их игры были куда интереснее. Они не только наряжали кукол и

устраивали им домики, но и выводили гулять, «кормили и поили», разговаривали с ними, как с живыми. Игры девочек с куклами были так похожи на настоящую, взрослую жизнь! Можно было подумать, что они и правда уже настоящие мамы. Только почему-то без пап. Мальчишеские игры другие – в них все сводилось к соревнованию друг с дружкой.

И вот Ваня пошел к воспитательнице и спросил:

– Мария Семеновна, а почему для мальчиков одни игрушки, а для девочек другие?

Мария Семеновна усмехнулась и развела руками:

– Ну, так уж заведено, Ванечка. Не могут же девочки играть в машинки, а мальчишки в куклы. Как ты себе это представляешь?

Ваня представлял это себе очень даже хорошо. К тому

же слова воспитательницы не ответили на его вопрос, поэтому он сказал снова:

– Но почему? Что в этом такого?

– Потому что вы разные. Мальчикам положено быть сильными, а девочкам – добрыми и терпеливыми.

Ваня хотел было спросить: «Но при чем же тут куклы?», но передумал. Он понял, что толкового ответа от Марии Семеновны не дожدهшься. Поэтому надул губы и ушел. «Лучше у родителей спрошу!» – подумал Ваня.

Но родители сказали почти то же самое, что и воспитательница, хотя и другими словами. А папа еще добавил: «Вырастешь – поймешь!»

После всего этого Ваня сделал вывод, что взрослые сами не знают, почему ему нельзя поиграть в куклы. Нельзя и все тут. Так положено. Вырастешь – поймешь.

Но Ваня был слишком любопытным и не хотел ждать, когда он вырастет, чтобы получить ответ на такой простой вопрос. Поэтому он решил, что будет играть с

девочками в куклы, можно или нельзя.

И он пошел к кукольному домику и попросил девочек дать ему куклу. Девочки сначала долго смеялись.

– Куклу, тебе? – спросила одна из них, Алина. – Но ты же мальчик! Мальчики не играют в куклы.

– А я все равно хочу попробовать! – настаивал Ваня. – Мне интересно.

Девочки еще похихикали, но потом дали ему единственную свободную куклу. Та была старая и с отломанной рукой.

– Бедная! – сказал Ваня. – А как ее зовут?

Имени у куклы не было, поэтому Ваня назвал ее Лиза – как свою маму.

– А где ее мама? – спросили девочки с издевкой.

– Ее мама нас бросила, потому что Лиза родилась без руки, – отвечал Ваня. – Так что я воспитываю ее один.

Девочки после этого смеяться перестали, а начали жалеть Лизу и подружили ее со своими «дочками». Ваня играл с Лизой весь оставшийся день, и ему очень

нравилось. И он стал играть с ней каждый день. Он очень полюбил Лизу и был уверен, что и Лиза полюбила его – он же теперь ее папа!

Но потом Виталик, другой мальчик из группы, стал издеваться над Ваней из-за этого. Сначала называл Ваню девочкой и предлагал надеть платье. Потом стал дергать его за волосы, «чтобы косички быстрее выросли». Остальные мальчишки, когда видели это, громко смеялись. Ване даже дали кличку на женский манер – Ванна и

стали его дразнить. Особенно Виталик, конечно, но и другие подхватывали.

Воспитатели Виталика за это ругали, но его это не останавливало. А Ване они советовали «просто не обращать на него внимания».

– Возможно, тебе уже пора перестать играть в куклы? – сказала Мария Семеновна, когда Ваня в очередной раз ей пожаловался. – Займись лучше своими мальчишескими вещами.

То же самое сказала ему и мама. А папа вообще ра-



зозлился и сказал, что сам отшлепает Ваню, если тот не перестанет «вести себя как девчонка». И вообще, пацану нечего жаловаться старшим, а следует давать отпор самому.

И Виталик продолжал издеваться. Ваня терпел. Но однажды Виталик отобрал Лизу, раздел ее догола, швырнул на пол и стал пинать как мяч. Ее домик он тоже разрушил – достал игрушечную мебель и одежду и раскидал ее по всей группе.

Когда Лиза оказалась снова у Вани в руках, она была вся исцарапана, а глаза ее больше не закрывались, когда он ее укладывал.

После этого Ваня решил «отдать Лизу в детдом» и больше не играть в куклы.

Но и к «мальчишеским делам» он не вернулся. Вместо этого Ваня в одиночестве собирал конструктор и играл в настолки с воображаемыми партнерами.

2020

Ваня вырос, женился, и у него на самом деле родилась дочка, Катя. Ваня с женой купили ей кукольный домик

и нескольких кукол. У Кати были не только «дочки», но и один «сыночек», которого звали Ваня, как папу.

Ваня вспомнил себя маленьким и снова начал завидовать, на этот раз Кате. Она очень заботилась о своих «детях», и те были гораздо лучше благоустроены, чем в свое время Лиза. Ну и, конечно, из-за того, что они были новыми, у них не имелось никаких увечий. А еще, в отличие от Лизы, у них были оба родителя. Хотя папу им Катя только придумала и говорила, что он просто уехал надолго по работе.

К Кате часто приходили подружки из детского садика вместе со своими куклами, и они играли в «дочки-матери». Все как в садике – также по-взрослому. Как-то Катя жаловалась, что одна из ее дочек заболела, а подружки давали ей советы и делились «лекарствами».

Ване очень хотелось поиграть вместе с дочерью. Но она никогда не звала никого из родителей, потому что ей хватало общества подруг. Да и с чего бы ей пришлось в

голову предлагать взрослому мужчине играть в куклы? А сам напрашиваться Ваня не хотел. Как-то это было глупо. Да и жена Вани, Лена, подняла бы его на смех. Одно дело, если бы он играл «вынужденно», и другое – по своей же прихоти.

Но вот когда Кате было шесть лет, объявили карантин. Она не ходила в детский сад, не играла во дворе и не могла позвать в гости подруг. Катя чувствовала себя одиноко, и ей не с кем было поиграть. Она очень грустила.

Сначала Катя просила маму поиграть с ней в кукольном домике. Но та лишь отмахивалась говоря:

– Я уже отыгралась в эти игры, дорогая. И я пока занята. Если хочешь, потом почитаю тебе.

Лена, и правда, была очень занята работой. В отличие от Вани, она работала на дому, так что во время карантина, пока ее муж сидел дома, у нее стало только больше работы.

– Я с тобой поиграю, – сказал тогда Ваня.

Катя повернулась к нему изумленная.

– Правда? И в куклы будешь играть?

– А почему нет? – сказал Ваня улыбаясь. – Ты разве не хочешь познакомить их с дедушкой?

Катя подняла глаза к потолку и потерла подборок, явно о чем-то задумавшись. Скорее всего, думал Ваня, о том же, о чем он сам двадцать лет назад. О вопросе, на который он так и не получил ответ.

– А действительно, почему нет? – сказала Катя, выходя из задумчивости и смеясь. Она подбежала к отцу в три прыжка, взяла за руку и потянула за собой в детскую. – Пойдем!

Они проиграли вместе весь день, а потом и весь карантин. Катя была очень довольна. А Ваня вообще счастлив.

А когда карантин закончился и магазины открылись, они вместе пошли покупать новых кукол и мебель для домика.

Мария Руднева

СТРАНА ПО ТУ СТОРОНУ ГОР

Я родился и вырос в одной из тех небольших деревушек близ Тулузы, которых жители больших столиц обычно не замечают вообще, хотя для них и сама Тулуза — та еще деревня. Мое детство прошло на задворках Франции, в соленом воздухе Средиземного моря, под серо-голубым небом, которое перечерчивали наискось ряды Пиренейских гор.

Мой отец, Франсуа Соммей, работал журналистом, писал заметки сразу в несколько местных журналов, дружил со всеми в округе, от полицейских до разносчиков писем, и был самым лучшим отцом и другом для одиннадцатилетнего мальчишки, коим я в те времена и являлся.

Я был ужасно строптивым

и трудным ребенком, уже обладавшим своим особым, сложившимся взглядом на мир и весьма жестоким сердцем. Вместе с другими мальчишками мы ставили капканы на лис, ловили рыбу просто для удовольствия, и смотрели, как она барахтается в траве, мучили жаб и птичек, кидались камнями в бродячих собак и пребывали от этого в восторге. Отец не уставал отчитывать меня за это.

В дни, когда ему приходилось меня ругать, он ходил мрачный и расстроенный, у него не получалось писать статьи, и он говорил, что я зря расстраиваю маму. А маму я не расстраивал, я был в этом уверен. Моя мама никогда не расстраивалась и не плакала. Ее звали Сабрина

Соммей, она была жесткой и уверенной в себе женщиной, работала в Тулузе в редакции газеты наборщицей текстов, держала в кулаке все домашнее хозяйство, а так же меня и папу. Я ее уважал и боялся. Вот если меня начинала ругать она, тогда я извинялся и даже пытался что-то изменить в своем поведении, правда, по большей части, безуспешно. А над папой я в душе посмеивался. Он же был моим лучшим другом! А я считал, что друзей нельзя воспитывать, надо быть одной командой!

Впрочем, в хорошие дни папа ходил со мной по лесам и к реке, на машине возил меня в старые рыцарские крепости и рассказывал истории. Историй он знал великое множество, вычитывал их из старинных книг или слушал из уст старожилов. Правда, самую любимую мою историю он сочинил сам. Однажды мы всей семьей ездили к морю, мне было лет восемь, и море было очень холодным. Средиземное море вообще очень холодное, но тогда я расстро-

ился и спросил:

— Пап, а море бывает теплым?

Помню, как рассмеялась тогда мама. Она бродила по каменистому пляжу в красном летнем платье и искала плоскую гальку. Мы с ней любили запускать гальку по спокойному морю в безветренные дни. Мне нравилось смотреть, как камешек ударяется о воду, оставляя за собой круги — раз, другой, третий, иногда получалось даже четыре! — а потом тонет... Так вот, я спросил у папы про теплое море, а он ответил, что бывает. И рассказал сказку, которую, как я потом понял, сочинил на ходу.

— Есть одна страна, я называю ее Страна По Ту Сторону Гор, — рассказывал он, усадив меня к себе на колени. — Там живут люди, темные, точно ночь, с глазами черными и пылающими, как угли, с волосами цвета вороного крыла. Они всегда танцуют дикарские танцы и поют дикие песни громкими голосами. У них в волосах цветы и ленты, их мужчины

сильны, а женщины прекрасны. Они живут в долине, наполненной жарким солнцем, пьют сладкое вино и едят свежие фрукты, напитанные жаром дня и огнем ночи. А море, ластящееся к их ногам, такое синее, словно в нем отражается чистейшее небо, и такое яркое, что можно

ослепнуть, залюбовавшись им. Оно всегда теплое, даже ночью. Оно впитывает в себя весь жар солнца, чтобы ночью греть замерзшие тела и успокаивать разгоряченные, и солнце из-за этого садится на горы усталое и измотанное и приходит к нам лишь бледным отражением себя.



Поэтому наше, французское море, никогда не прогревается до дна, и у нас бывают заморозки, и очень ветрено и прохладно. Но если ты когда-нибудь приедешь в Страну По Ту Сторону Гор, то обязательно встань на песок, сними ботинки и подойди к морю босиком. Посмотри вдаль и вспомни меня, даже если меня в тот момент не будет рядом. И Самое Теплое Море всегда тебя согреет, утешит и развеселит.

— А когда мы поедем в эту страну, пап? — спросил я.

— Скоро, малыш, — он со смехом щелкнул меня по носу, — очень скоро, обещаю тебе.

Но скоро мы туда не поехали. И вообще, не поехали. Потому что отец был вечно занят работой, и, чем старше я становился, тем реже мы куда-то выбирались. Я постоянно ездил на велосипеде в Тулузу, чтобы пообедать с матерью, а отец в основном работал дома, в своем кабинете или в саду. Каждый раз, стоило мне завести разговор про Страну По Ту Сторону Гор, он грустнел, строжел

и переводил тему. Он был погружен в свою работу настолько, что отдалялся от нас с матерью.

Мать все больше времени проводила в Тулузе, а не дома. Я без цели шлялся по деревне или по городу и все время думал о том, что возьму и сбегу. Куда-нибудь. Например, в Страну По Ту Сторону Гор. А папа опомнится и приедет за мной, и вот тогда начнется веселье. Я стал совсем одичалым, не хотел общаться со сверстниками и много читал книжек, но в них постоянно отцы гуляли с детьми, и я только сильнее расстраивался. К моменту моего одиннадцатого дня рождения ровным счетом ничего не изменилось.

За исключением того, что в нашем доме появился Торнхильд. Он был очень высоким, скупым на эмоции, молчаливым и жестким человеком. Он носил светлые волосы до плеч, а глаза у него были похожи на два кусочка льда, прозрачные и очень светлые, с четко очерченными зрачками. На ладонях были мозоли от руля,

на шее — цепочка с незнакомым мне знаком, а в ухо вставлена двойная сережка с цепочкой. Я помню все так хорошо, потому что очень внимательно разглядывал его при знакомстве. Он явно не был французом, но говорил хорошо, хотя и слишком, на мой взгляд, правильно. Здесь, в глубинке, никто не говорит так, как в Париже, но иностранцу можно это простить. Хотя Торнхильду мне ничего не захотелось прощать — ни его выговор, ни странное, трудновыговариваемое имя, о которое так просто было сломать язык, ни странную внешность, ни кожаную одежду, даже хромированный мотоцикл его мне не понравился. Словом, я невзлюбил его сразу, каким-то внутренним, интуитивным чувством поняв, что в мой детский мир этот человек принесет одни проблемы.

Сначала он появлялся у нас раз в месяц. Рассказывал, что переехал во Францию по работе, жил в предместье Парижа, и раз в месяц пересекал страну, чтобы отведать

маминого воздушного пирога с малиной. Потом мы стали видеть его раз в две недели. Потом раз в неделю. Потом он поселился в Тулузе.

Торнхильд был старым другом моей матери. Оказывается, родители много мне не рассказывали. Моя мать была наполовину датчанкой. Ее отец, мой дед, рано разошелся с ее матерью, но половину детства мама провела в Дании. Их соседями по дому оказалась семья Торнхильда, и они дружили с самого раннего возраста, тем более что были ровесниками. Когда мама вернулась во Францию насовсем, Торнхильд боялся, что они потеряют связь, но все эти годы они переписывались и перезванивались. Иногда встречались, хотя в последние лет десять этого почти не происходило — конечно же, понял я, из-за того, что родился я. Но вот теперь их пути снова пересеклись. Как я понял, работа Торнхильда позволяла ему постоянно мозолить нам глаза.

Он очень старался со мной

подружиться, но я избегал этого. Все мое существо отторгало его. Он мне не нравился, он меня бесил, он мне был противен. Я откровенно грубил ему и хамил, огрызнулся в ответ на каждое его слово и часто убегал в лес или прятался в своей комнате, если он предлагал где-то

погулять. С его появлением от меня совсем отделились родители. Я впервые услышал от отца ужасную фразу: «Ты уже большой мальчик, Эрик, ты же можешь и один съездить в замок, зачем тебе там я?» Словно бы папа не понимал, что я хотел его компании, его историй и



рассказов, и воспринимал меня как личную обузу. Он совсем ушел в работу, а у мамы, наоборот, стало больше свободного времени — и она тратила его на Торнхильда.

Когда Торнхильд приехал на несколько месяцев, он, конечно же, поселился у нас — родители дружно решили, что ему не надо тратить деньги на гостиницу, у нас же вполне хватит места. Я готов был кричать от ярости и бессилия. Ну как же так? Почему они позволяют ему тут жить в моем доме, пить из моей посуды, сидеть на моем диване — и при этом совсем вычеркивают из всей этой обстановки меня?! Когда у обоих было много работы, они пытались повесить на меня заботы о Торнхильде, но он к тому времени уже ясно понимал мое к нему отношение и отказывался сам. Хорошо еще то, что помириться со мной он не пытался. Просто он ко мне не лез. И на том ему большое спасибо!

У нас появилась традиция ужинать вчетвером, но вско-

ре я стал забирать тарелку к себе в комнату и есть перед телевизором. Это было совсем не так здорово и вкусно, как раньше, зато не так обидно. За столом они беседовали только друг с другом, переглядывались, смеялись и обсуждали какие-то свои взрослые темы, а меня в разговоры не звали. Я же всего лишь ребенок! Вот только пока Торнхильд не пришел в наш дом, ребенком я не был.

Торнхильд был мне противен. А еще он никогда не называл мою маму по имени. То есть вообще никогда, с детства. Он был убежден, что это имя ей, видите ли, не подходит. Хотя я точно знаю, у моей мамы самое красивое имя. Сабрина! Вы только вслушайтесь! Всплески волн над галькой, перезвон деревянных колокольчиков над порогом, а ему не нравилось. Он звал ее какими-то мифическими, вымышленными именами — Хельга, Фрейя, Сольвейг... Попробовал почитать книгу про этих его богов, а это оказалась занудная тягомотина. Кажется, более скучного и неинтересного

человека в этом мире быть не могло. И именно он управлял мое детство, мои лучшие дни, минута за минутой.

Я часто мотался в Тулузу на велосипеде, и видел, что они с мамой гуляли вместе. Заходили пообедать в булочную, расхаживали по улочкам, и прочее. Выглядели они при этом так сладенько, что всякие плохие мысли сами закрались мне в голову, и отвертеться от них не было уже никакой возможности. Не подумайте, я был уже достаточно взрослый, чтобы знать о сексе и всяких прочих вещах. В конце концов, компанию мне составляли деревенские любопытные мальчишки в возрасте от пяти до пятнадцати. Так что вывод напрашивался сам собой — похоже, Торнхильд активно заигрывал с моей мамой, а несчастный отец, погруженный в работу, ничего не замечал. К маме у меня никаких претензий не было — она же не видела, что ее друг детства на самом деле страшный обманщик, готовый воспользоваться ей! Мое буйное воображение уже

рисовало мне страшные картины разрушенной семьи, и с тех пор я начал считать Торнхильда еще предателем самого важного — дружбы и доверия нашей семьи. Хорошо, что совсем скоро после этого он уехал, причем куда-то намного дальше Парижа, и целый год о нем ничего не было слышно. Конечно, родители поддерживали с ним связь — то отец за ужином рассказывал, что звонил ему по телефону, то мама писала ему письмо, сидя на кухне. Но главное — в отсутствие Торнхильда родители снова вспомнили, что у них есть сын! Мы снова проводили выходные всей семьей, и я чувствовал себя — хотя бы на время — в безопасности и счастливым.

А полгода спустя мама получила новую работу, и мы всей семьей переехали в Перпиньян.

Мне было так жаль оставлять родную Тулузу! Перпиньян казался мне слишком легкомысленным городом, под стать названию. Из-за университета в нем было полно приезжих иностран-

цев, город был шумным, а жители его — чересчур, по моему мнению, общительными. Тем более что на всех удобных пляжах круглый год было столько студентов, что приходилось изыскивать более тихие и спокойные места. В общем, единственным плюсом переезда мне казался открывающийся вид на горы. Они стояли, такие внушительные и далекие, а где-то внизу пенилось и бурлило море.

В общем, жизнь в Перпиньяне была неплоха. У нас был маленький домик на краю города, булочная, которой заправлял милейший мсье Виен, под боком, доброжелательные соседи, помогавшие нам освоиться, хороший большой магазин с продуктами и красивые пейзажи. Мама работала в центре города, мы вставали обычно в одно время, брали велосипеды и ехали — она в офис, а я просто в город и кататься по окрестностям. Иногда я катался к морю, теперь до него было рукой подать. Но оно все равно было серым и неприветливым,

так что я постоянно возвращался мыслями к Стране По Ту Сторону Гор и думал, что если уж переезжать, то сразу туда надо было. Но мы переехали в город свежих морепродуктов, мостов, оплетенных цветами, всегда яркому и веселому, хотя и очень ветреному, и можно было смириться с этим. Я гулял по переплетению тонких улочек, любовался аркой Кастилье, знакомился с продавцами сладостей и завел себе новых друзей среди местных мальчишек. Словом, дела шли хорошо, но лишь до того момента, как в нашу жизнь снова вторгся Торнхильд. Кажется, теперь ему удалось найти работу в Перпиньяне. Он был как призрак, преследующий нашу семью. По крайней мере, моим личным кошмаром ему стать вполне удалось. И жил он, конечно же, у нас. Иногда он брал папину машину и куда-то ездил — папа сделал ему доверенность. Часто они ездили куда-то вместе. Вечерами уходили втроем, или он уводил куда-то маму. Я ненавидел его в эти минуты,

я ненавидел их всех. Он звал папу Францем, хотя у него такое красивое имя — Франсуа, но Торнхильду нравилось его корежить. Он все корежил, ломал... Хотелось схватить папу и кричать: ты что, не видишь? Наверное, останавливало меня понимание, что никто не прислушается к доводам маленького, по их мнению, ребенка.

Да, мы жили в легкомысленном городе с легкомысленным именем, но в моей жизни не было места легкомыслию. Серый нордический призрак не оставлял меня. Я до сих пор иногда считаю, что Торнхильд искалечил мое детство, что не будь его, и все сложилось бы совершенно по-другому несмотря на то, что я категорически неправ. Иногда Торнхильд отвозил меня на море по просьбе, конечно, отца. У него не находилось минутки погулять со мной, зато ему было спокойнее, что я был под присмотром. Как отвратительно это звучит. Мне было почти двенадцать, я умел ездить на велосипеде, быстро бегать, и спокойнее

нашего края сложно было себе что-то представить.

Иногда, впрочем, из-за гор приходила гроза. Тогда на море поднимался шторм, пугающе холодный, ветер становился пронизывающим до костей, и дождь шел такой, что нельзя было рассмотреть горы. Однажды мы с Торнхильдом оказались на море в самый разгар бури. Не спрашивайте меня, как так произошло. Просто иногда он брал катер и прокатывал меня по морю. Я не мог отказываться от такого предложения даже несмотря на всю ту холодную войну, что мы вели. Я прекрасно понимал, что он делает это под давлением отца и мамы, но мне было всего лишь двенадцать, и взрослые не считали, что мне можно самостоятельно брать катер. Если честно, в глубине души я и сам немножко трусил. А еще мне нравилось, как Торнхильд водит катер, хотя я никогда бы себе в этом не признался тогда. Уверенно, спокойно, разрезая носом ветер в беспокойные дни или рисуя на искрящихся волнах узоры — в солнеч-

ные. Так и вышло, что мы отошли от берега слишком далеко, заигравшись в волнорезы, не заметив, что волны поднимаются все выше. Нашу маленькую лодочку швыряло из стороны в сторону, а Торнхильд рассмеялся и посмотрел на меня:

— Что, парень, испугался? Правильно, что испугался. Знаешь, кто мутит этот шторм? Сам Морской Дьявол! Он поднимается со дна, чтобы дотянуться до своей добычи!

— А кто его добыча? — переспросил я, пытаюсь перекричать завывания ветра.

— Заблудшие души! — весело отозвался Торнхильд, — И сегодня, боюсь, это мы с тобой. Надеюсь, спасательный жилет на тебе? Будет весело!

И правда, было весело. Торнхильд веселился, и я вместе с ним, потому что иначе я бы был и плакал от страха, а я не мог потерять перед ним лицо. Я спрашивал, бывает ли море теплым, он отвечал, что на самом дне. Мы представляли себя пиратами, капитаном Крюком и мистером Сми на пути в Неверландию.

Наш корабль черпал носом воду, фок-мачта падала, паруса натягивал ветер, и была пробоина ниже ватерлинии: мы вспоминали все формулировки из пиратских романов, которые только могли. Как оказалось, мы оба плохо помнили подробности того, как должно происходить кораблекрушение, но этого нам хватало. В какой-то момент меня отбросило на спину, я упал на дно катера и увидел, как прямо над нами возвышается Морской Дьявол. Тугой сгусток тумана с глазами-молниями, серый, как дождевая туча, бесконечно пребывающий в движении. Он протягивал к нам свои щупальца, клацал жвалами, и от тех звуков, что он издавал, мне становилось жутко. Торнхильд засмеялся, как мертвец — почему-то это сравнение из книжек только и пришло мне в голову — и направил катер прямо в сердце Морскому Дьяволу.

А потом я помню только, что было очень холодно, и что под стеной проливного дождя мы добрались до берега, где нас подобрали

береговые спасатели. Сели в машину и поехали домой, где мне налили вина, переодели и отправили в кровать. Но мне не спалось. Шум дождя и вой ветра за окном прогоняли от меня сон. Я встал и подошел к окну. Мне показалось, что далеко над морем, над горами, над городом поднимается огромный, подобный грозовой туче, Морской Дьявол и ищет свою сбежавшую добычу. Я внезапно испугался, поняв, что он может нас найти, что море может не сдержать его, что он больше, сильнее и могущественнее. Мне никогда не было так страшно. Я вышел в коридор и босиком пошел к папиной комнате в надежде, что папа расскажет мне сказку, и я перестану бояться. Я тихонько открыл дверь, думая, что папа спит, но комната была полна разговорами и отсутствием тишины, знаете, которое бывает, когда двое не спят. Я сначала подумал, что папа с мамой, но я жестоко ошибался. Сильный порыв ветра ударил в окно и едва не выбил его, и я со всех

ног бросился в свою комнату и забился под одеяло. В эту штормовую ночь я осознал, что этот серьезный, неулыбчивый человек с белыми от времени и прошлого волосами, был любовником не моей матери, но моего отца. И я еще сильнее возненавидел его.

Я ненавидел его со всей жесткостью двенадцатилетнего ребенка, который многих вещей понять не может, а всех остальных — не хочет. В своем сознании я успешно игнорировал тот факт, что Торнхильд спас мне жизнь. Его жизнь я отравлял со всей своей изобретательностью. И если вы думаете, что полстакана соли в тарелку — это жестоко, то вы ошибаетесь. Мальчишки везде одинаковы, особенно те, что уже постарше, и мои приятели с легкостью подсказали мне несколько способов избавиться от друга семьи, и знаете что? На подобное порой способны только дети. Взрослые, вырастая из детских игр, вырастают и из этого беспринципного чувства безнаказанности. Я был

абсолютно уверен, что мне ничего не будет. Торнхильд ничего мне не говорил, и это придавало уверенности: он знает, что виноват — ликовал я внутри — виноват перед всей моей жизнью, и ничего, ничего не может!

Я больше не ездил с ним к морю, я даже не разговаривал с ним. Только мелко гадил исподтишка: битыми стеклами в ботинки, маслом на порог, телефонным хулиганством (которым развлекались мои приятели). О том, что я мешаю и родителям, я не вспоминал. А когда вспоминал, отмахивался от этой мысли, ведь они тоже виноваты. Они меня бросили!

Когда отец застал меня за попыткой испортить мотоцикл Торнхильда, наступил самый черный на моей памяти день: отец на меня кричал. Этот тонкий, хрупкий человек, никогда в жизни ни на кого не повысивший голос, кричал на меня так, что уши закладывало и страшно разболелась голова. Он называл меня ужасными словами: убийцей, мерзавцем, подлецом. Оказывается,

словарный запас у него был очень большой, и каждое его слово было как удар. Хотя руку он на меня так и поднимал. Никогда и никого он не ударил в своей жизни, это я точно знаю, но мне было достаточно и слов, чтобы ощутить, насколько гадко я себя вел. Это не отговорки, я, правда, очень ясно это понял в тот миг.

А потом он опустился передо мной на корточки, обнял за плечи, и, пристально глядя в глаза, попросил большое так не делать. Он просил от меня очень мало — просто оставить Торнхильда в покое. Он даже не стал меня наказывать. Просто попросил и ушел к себе в кабинет.

А я пошел к морю пешком, потому что мне надо было хорошенько подумать.

На море не было и следа Морского Дьявола. Я подобрал камушек и запустил его подальше, так, чтобы осталось побольше кругов на воде. Пять. Но камушек все равно утонул. На душе было мерзко и сыро.

Впрочем, Торнхильд все

равно уехал. Не знаю, было это связано со мной или с его работой, или еще с чем, но с тех пор он ни разу не приезжал надолго. Гостил несколько дней, в основном уезжая куда-то с папой, водил маму по вечерам есть омаров и совершенно не замечал меня, ограничиваясь сухими фразами, которые диктовала вежливость, вроде «добрыйдень» и «передлайтепожалуйстасоль». Из разговоров мамы и папы я знал, что он сейчас много путешествует, и я искренне желал ему осесть где-нибудь в Южной Африке и никогда больше у нас не появляться.

С тех пор как он перестал постоянно присутствовать в нашей жизни, ну, после того случая с мотоциклом, папа снова стал моим лучшим другом. Много времени проводил со мной, ездил к морю, переделал рабочий график. Прятал меня от Морского Дьявола, потому что после той ночи гроза приводила меня в ужас. Сочинял для меня новые сказки и каждые полгода обещал взять отпуск, чтобы съез-

дить со мной в Страну По Ту Сторону Гор. Жизнь постепенно налаживалась, я даже полюбил ходить в школу, и Перпиньян нравился мне все больше. Торнхильд почти исчез с нашего горизонта, и наша семья была крепкой и целой вновь. Я был счастлив несколько лет. А потом папа умер.

Утонул, когда мне было пятнадцать. Вышел на лодке в открытое море, и его забрал Морской Дьявол. Я тогда понял — это из-за меня и из-за Торнхильда, потому что мы спаслись, и добычу он не получил. А еще я понял, что ни в какую Страну По Ту Сторону Гор мы никогда не поедem. И что люблю папу больше всего на свете. И что моя жизнь остановилась, и больше ничего не будет. И что это неправильно. Неправильно. Неправильно!

Когда нам сообщили, было семь часов вечера, и за окном шел дождь, горы были скрыты туманом, а мама сразу ушла в соседнюю комнату с телефоном, плотно прикрыла дверь и долго разговаривала с кем-то. Я

не знаю, с кем и о чем, я не подслушивал, потому что был очень занят. Я бил посуду. С сознательной яростью я громил об кафельный пол всю посуду, которую только видел, все хрупкие вещи, до которых мог дотянуться. Сервиз моей матери, чашки с подставки, заварочный чайник тонкого фарфора, стеклянный котик с глазами-бусинками, высокая изогнутая ваза... Все разлеталось в черепки, все теряло форму и смысл, и в этом имело поразительное сходство с тем, во что превратилась моя жизнь. Я был в возрасте достаточно сознательном, чтобы понять и принять свершившийся факт сразу, но вместе с тем был не в состоянии с этим смириться. На ни в чем не повинных предметах я вымещал свою ярость, и с каждым звоном осколков она увеличивалась вдвое. Когда мать вышла из комнаты, я как раз собирался разбить часы. Она вырвала их у меня из рук и повесила на место. А потом обняла, чего она не делала уже очень давно, и крепко прижала к себе. Глаза у нее

были большие и красные. Так мы стояли, наверное, долго. Я не знаю, сколько, потому что успел испортить часы, и они остановились.

Ночь мы провели, собирая осколки. Мы оба молчали, хотя мне хотелось говорить с мамой о тысячах нарочито бытовых мелочей, но не получалось. Часам к четырем утра она отправила меня спать, хотя я был уверен, что не смогу уснуть и буду ворочаться в постели, пережевывая в мозгу бессмысленность дальнейшего существования. Но я уснул, едва моя голова коснулась подушки, истощенный и измотанный собственным горем.

А наутро приехал Торнхильд. Было мерзло и ветрено. Он открыл дверь сам, прошел в комнату матери и разбудил ее. Я уже был на кухне, одетый, допивающий чай из чудом уцелевшей кружки — единственной. Я горел желанием делать хоть что-то, куда-то сбежать, с кем-то о чем-то договариваться, ведь столько еще предстояло! Мама вышла на кухню нечесаная в халате и

достала из холодильника две банки пива — себе и Торнхильду.

— Для них не нужны стаканы. У нас с ними... проблемы, — криво улыбнулась она и с нервным щелчком открыла банку. Кажется, она так и не заснула.

Торнхильд выглядел высушенным, выцветшим, непривычным. Глаза запали, волосы, гладко убранные назад, словно стали еще светлей — только потом я разглядел, что он полностью поседел.

— Эрик, пожалуйста, оставь нас наедине, нам надо поговорить, — тихо и виновато попросила меня мама. Я послушался, мне вдруг ужасно захотелось круассан с шоколадом, а за ним надо было бежать к булочнику. С другой стороны, мне было все равно, куда бежать, лишь бы всего это не было, лишь бы не видеть Торнхильда, который никак не мог оставить нас в покое. Выходя за дверь, я услышал, как он обратился к ней — Сабрина. В первый раз на моей памяти. В животе свился тугой жгут, кора-

бельная веревка мертвых моряков. Это все всерьез, это происходит на самом деле, понял я.

Я пробежал вдоль всей нашей улицы, и остановился только над обрывом, откуда открывался вид на горы. Я смотрел на них, и они казались мне проступающими из тумана памятниками моим мечтам и надеждам. Все, что мы с папой хотели, все, что он мне обещал, все поглотили седые снежные шапки, разливы холодной соленой воды и эти немые каменные глыбы. Не знаю, сколько я там простоял, а потом вернулся в булочную.

Конечно, там уже все знали. Косились на меня с жалостью. Мсье Виен налил мне сладкого чаю и положил моих любимых булочек, и отказался брать с меня деньги. Я попросил шоколадный круассан, и он дал мне два пышных горячих, только что из печи. Я завтракал в молчании, становясь объектом чужого сочувствия и перешептывания. Хорошо, что у соседей хватило такта не лезть ко мне с утешени-

ями. С другой стороны, они наверняка дадут себе волю на похоронах. От этой мысли мне стало тошно, аппетит пропал. Без особого желания я дожевал круассан, допил чай и вышел из булочной. Интересно, они уже поговорили?

Я подошел к крыльцу, и одновременно с этим Торнхильд и моя мама вышли из дома.

— Ты вовремя, — сухо обронил он, цепко хватая меня за плечо, — едем.

— Куда?!

— Увидишь.

Больше он не произнес ни слова. На мои недовольные выкрики он не реагировал. Мама сунула мне в руки джинсовку, и Торнхильд запихнул меня в папину машину. Покопался в бардачке, достал доверенность, неловко запихнул ее под лобовое стекло и откинулся на сиденье.

— Едем. Пока, Сабрина. Скоро увидимся. Держись.

— Пока... — мама неуверенно подняла руку к лицу, но, увидев мой взгляд, опустила снова, неловко и зябко пове-

ла плечами и вдруг улыбнулась мне. — Я люблю тебя, Эрик.

— Мама!... — я не понимал, что происходит, а Торнхильд нажал на газ.

— Пристегнись! — приказал он, выруливая на извилистую горную дорогу.

Торнхильд вел быстро, зло, словно торопясь куда-то успеть.

Сначала я пытался выяснить, какого черта он меня куда-то везет, и что все это значит. Пытался донести до него, что мне не особенно доставляет удовольствие видеть его и ехать куда-то с ним, да еще в такой день. Я никуда не хочу и не собираюсь. Требовал немедленно остановить машину, чтобы я мог вернуться домой к матери. В сотый раз требовал объяснить, куда он едет. Но Торнхильд молчал. Это он умел лучше всего — сдержанно и холодно молчать, отбивая любое желание продолжать с ним разговор.

Тогда я решил, что буду предаваться своему горю и своей тоске, в конце концов, ничего кроме в моей жизни

теперь не осталось. Но Торнхильд открыл окна полностью со своей и с моей стороны, и стылый ветер ворвался в кабину автомобиля, вышибая слезы из глаз и лишние мысли из головы. Он вел автомобиль как катер, против ветра, вопреки всему. Через некоторое время для меня осталось только настоящее, только движение, только горы, вздымающиеся в стороне от нас. Шоссе вывело нас к береговой полосе, он пронесся так близко от серых вздыбленных волн, как это было возможно.

Проклятый всеми богами Морской Дьявол вздымал свои туманные щупальца, тянулся к нам, а ухватить не мог. Море оставалось слева, отдалялось от нас, пока совсем не осталось позади, а горы не открылись нам навстречу. Мы мчались по извилистой дороге среди зеленых шапок из замерзших деревьев и грибных наростов горных деревушек. Одна за другой они проносились мимо, и взгляд выхватывал то черепичную крышу, то белые стены. Солнце, тускло

пробивающееся из-за туманных облаков, подкрашивало снежные верхушки. Мы оказались в ловушке Пиренеев, принявших нас в свое нутро, как гигантский ковш экскаватора принимает в себя беспомощные песчинки. Я чувствовал себя галькой, круглой и плоской, описывающей круги по бескровному спокойствию ночного моря, точно зная, что движение закончится и придет пора тонуть. Мощные горы, словно корни мира, вывернутые наизнанку, окружали нас, а мы летели единственной дорогой, изогнутой и небезопасной. За весь путь Торнхильд не произнес ни слова. Мы ехали почти весь день, а в сумерках шоссе выбросило нас в беспорядочный сонный город — Барселону. Город По Ту Сторону Гор.

Барселона показалась мне болезненно-неправильной, словно разновеликие здания набросаны в квадраты, привязанные к строительным кранам Собора Святого Семейства. Я видел ее в первый раз и ощутил себя в межгор-



ном котловане, одиноким и уязвимым. Торнхильд вел машину дальше по почти пустым улицам, пока не выехал к морю.

Он остановился у границы песка и велел мне выходить.

Как зачарованный, я покинул машину, стряхнул сандалии и босиком пошел по еще не остывшему песку. Здесь было намного теплее, чем дома. Мы оставили куртки в машинах, и Торнхильд разулся по моему примеру. Мы все еще молчали.

Но он крепко взял меня за руку и повел к морю. Первым моим порывом стало вырвать ладонь из его руки, но я отчего-то сдержался.

На пляже было почти пусто. Видно, это был берег, отдаленный от остальных мест купания. Откуда-то слева раздавались восторженные визги и крики, приглушенные расстоянием. Я видел в небе усталые мачты кораблей. Далеко слева клубились туманы Морского Дьявола, невидимые глазу, а прямо перед нами простиралась беспечальная голубая гладь. Я смотрел на нее и

вспоминал отца.

— Помнишь, ты спрашивал, бывает ли море теплым? — глухо сказал Торнхильд и я вздрогнул. — Франц любил рассказывать про Страну По Ту Сторону Гор, где всегда жарко и солнечно, где море такое синее, словно в нем отражается небо, и такое яркое, что можно ослепнуть, если чрезмерно им залюбоваться. Где ходят люди, смуглые, как ночь, с черными глазами и волосами, поющие дикие песни и сопровождающие их первобытными плясками. А вода такая теплая, не остывает даже ночью, чтобы согреть замерзшие тела и души и успокоить жар разгоряченных... Даже побывав здесь сотню раз, я никогда не прекращу считать это место тем самым, из сказок Франца. Страна его мечты. Он собирался приехать сюда с тобой. Увидеть своими глазами то, что придумал, глядя на величие Пиренейский гор из своего окна, слушая испанские мотивы в записях, которые я привозил ему из путешествий, и показать это все тебе. Он

рассказывал о Стране По Ту Сторону Гор так, словно знал каждое место и видел его своими глазами, таким ярким и честным было его воображение. Меня толкнули сюда именно его мечты и рассказы, и я надеялся рано или поздно привезти его сюда. К сожалению, этому не суждено осуществиться, как и многому из того, что он хотел. Но мы с тобой сейчас здесь, у самого Теплого Моря, и это — лучшее, что мы можем сделать для него, и самое правильное из того, где можем быть.

Я слушал его молча, и слезы жгли мне глаза, а вместе с рыданиями уходила и моя детская ненависть к нему. Я видел рядом с собой такого же, как я, одинокого, потерянного человека, которого так же нечестно и несправедливо разделили с человеком по имени Франсуа Соммей. Потом я взял его за руку и повел в Самое Теплое Море, лазурным ковром струившееся к нашим ногам, впитывающее каждый наш шаг. Оно размывало оставленные нами следы на песке,

а за нами оставался разрушенный песочный замок, Страна По Ту Сторону Гор, за которые медленно садилось грозное алое солнце.



ПРОЖЕКТОР

Перис-Квиртон

Марина Нестерова

СОНЯ, СОНЕЧКА И МАРИНА: ЯРЧАЙШИЕ КВИР-СТРАНИЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЦВЕТАЕВОЙ

У этой статьи две цели: вдохновить вас на углубленное знакомство со стихами и прозой Цветаевой, и рассказать о двух историях любви, которые продолжают кровоточить и болеть в творчестве Цветаевой сквозь все эпохи и десятилетия.



Несомненно, Марина Ивановна была квір-персоной — яркой, резкой, контрастной, не вписывающейся в стандарты. В ее трагической жизни случалось множество

вихреобразных романов, увлечений и страстных дружб. Свою позицию Цветаева обозначала вполне конкретно, в четвертом томе собрания сочинений можно найти всем

известное: *«Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное — какая жуть! А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине), заведомо исключая необычное родное — какая скука!»*

Романы Цветаевой существовали параллельно с жизнью семейной, которую все мы знаем из учебников литературы. Любимый муж — загадочный и противоречивый Сергей Эфрон — публицист, бывший офицер Белой армии, агент НКВД и шпион. Трое детей, за отношение к которым многие не могут по-человечески понять и принять Цветаеву.

Но сейчас мы расскажем о страницах жизни классика, которых не найти в учебниках. Поговорим о двух роковых женщинах в жизни Марины Ивановны: о Соне и Сонечке. Эти щемящие истории любви случились с женщиной в несколько лет. Одна — до революции, вторая — после. Первой Цветаева посвятила цикл стихотворе-

ний «Подруга» (изначально был озаглавлен как «Ошибка»). А другая легла в основу знаменитой «Повести о Сонечке». Знакомимся:

София Яковлевна Парнок (Парнох)

Краткая биография

Софья Парнок — поэтесса, литературная критикесса, переводчица. Родилась в 1885 году в Таганроге. Окончила Мариинскую гимназию с золотой медалью. Усердно занималась музыкой, поступила в Женевскую консерваторию по классу фортепиано, но вскоре радикально поменяла жизненный курс — вернулась в Россию и посещала Высшие женские курсы при Петербургском университете (историко-филологический, а позже — юридический факультет).

После неудачного брака с молодым поэтом В. Волькенштейном Парнок строила отношения исключительно с женщинами. Ориентации своей не скрывала и не стыдилась, посвящала возлюбленным дамам многочисленные стихи. Активно занималась литературной и переводческой деятельностью, печаталась в журналах, выпускала поэтические



сборники, написала либретто к опере А. Спендиарова «Алмаст».

В начале 20-х годов перебралась в Москву. Социально-культурную повестку тех лет переносила тяжело. В последние годы зарабатывала переводами, так как не имела возможности печатать свои произведения.

Умерла в подмосковном селе Каринское в 1933 году от разрыва сердца. Очевидцы вспоминали, что возле кровати в спальне Софии Яковлевны стояла фотокарточка молодой Цветаевой.

Цветаева и Парнок познакомились в октябре 1914 года. Сразу после этой встречи родилось первое стихотворение будущего цикла «Подруга». По нему отчетливо видно, что искра вспыхну-

ла мгновенно:

*Я Вас люблю! — Как грозовая
туча*

Над Вами — грех!

*За то, что вы язвительны, и
жгучи,*

И лучше всех...

*А в последнем четверостишии
считывается радостное «Сдаюсь!»
потрясенной Марины:*

*За эту дрожь, за то, что — неу-
жели*

Мне снится сон? —

*За эту ироническую прелесть,
Что Вы — не он.*

Парнок была старше на семь лет. На момент знакомства Марине исполнилось 22 — она была уже замужем, родила дочь. Исследователи сходятся во мнении,

что Парнок стала первым гомосексуальным контактом Цветаевой (возможно, единственным). Этот опыт сильно впечатлил Марину, отразившись в творчестве. «Голубчик мой, перечитай-те стихи Цветаевой к Софье Парнок! Она там по части эротики всех за пояс затыкает...», — говорил Иосиф Бродский в одном интервью. Перечитаем:

*Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.
Как я по Вашим узким пальчи-
кам*

*Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчи-
ком,
Как я Вам нравилась такой.*

Интересно, что многие исследователи этого этапа жизни Цветаевой считают Соню¹ демонической соблазнительницей, «темным роком» окутавшей благо-

1 Мы называем Парнок Соней, а Голлидэй — Сонечкой, потому что именно так обращалась к ним сама Цветаева. Тяжелое и официальное «Софья» кажется не очень подходящим для таких глубоко личных историй.

честивую молодую женщину. С этим хочется активно поспорить. Если вчитаться в цикл «Подруга», мы ясно увидим, что мужским (а точнее — мальчишеским) героем Цветаева считала как раз себя. Именно она добивалась таинственной надменной дамы («Это сердце берется — приступом!»), была готова на безумные рыцарские поступки («Как я икону обещала Вам / Сегодня ночью же украсть»), ассоциировала себя со «спартанским ребенком» и Каем, а Соню — со Снежной Королевой и «незнакомкой с челом Бетховена».

Сонины стихи к подруге тоже мало соответствуют образу роковой искусительницы:

*Ах, от смерти моей уведи меня,
Ты, чьи руки загорелы и свежи,
Ты, что мимо прошла, раззадо-
ря!*

*Не в твоём ли отчаянном имени
Ветер всех буревых побережий,
О, Марина, соименница моря!*

Парнок выглядит скорее завоеванной, чем завоевательницей:

*Гляжу на пепел и огонь кудрей,
На руки, королевских рук ще-
дрей, —
И красок нету на моей палитре!*

Отношения в паре были сложными, взрывными. Две яркие творческие женщины, к тому же два поэта — тут не могло получиться тихой уютной гармонии. Обе были ревнивы, обе — свободоло- бивы. Еще одним камнем преткновения могло стать разное отношение подруг к чувственной стороне любви. В цветаевском дневнике можно обнаружить, напри- мер, такую запись: «О при- тяжении однородных полов. Мой случай не в счет, ибо я люблю души, не считаясь с полом, уступая ему, чтобы не мешал». И далее: «Другие продаются за деньги, я — за душу!».

Кризисы отношений в паре и путь к разрыву можно про- следовать в «Подруге» точнее, чем в обрывках дневников и воспоминаниях современ- ников. Здесь и ревность, и «треклятая страсть», и открытые оскорбления («Счастлив, кто тебя не

встретил на своем пути!»), и враждебность («...что твоя душа мне встала поперек души»).

При этом родные и близ- кие Цветаевой сильно пере- живали за ее эмоциональное состояние, пытались помочь и утешить, как умели. Сер- гей Эфрон в одном из писем сестре просит: «Только будь с Мариной поосторожней — она совсем больна сейчас». Елена Волошина, по-мате- рински заботясь о Цветаевой, делится с близкой подругой: «Вот относительно Марины страшновато: там дело по- шло совсем всерьез. <...> Это все меня и Лилю очень сму- щает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары».

В ответ на такую заботу видим почти истерику в стихотворении, которое не вошло в окончательный со- став «Подруги»:

*Вспомните: всех голов мне
дороже*

*Волосок один своей головы,
И идите себе... Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.*

*Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру,*

*Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.*

Зимой 1916 года Марина и Соня окончательно расстались. Формальным поводом считается кратковременный роман Цветаевой с Мандельштамом. Он приехал в Москву в феврале, и Марина посвятила ему целых два дня. А когда вернулась к Соне, «у той на постели уже сидела другая — очень большая, толстая, черная». Но как все было на самом деле, можно только гадать.

При разрыве Цветаева потребовала вернуть все письма — они не сохранились и, насколько мы знаем, нигде не зафиксированы. Марина выкорчевала Соню из своей жизни окончательно, бесповоротно и жестоко. Много лет спустя, когда Парнок уже не было среди живых, в цветаяевском дневнике появилась сумбурная, злая запись: «Потом видела во сне С. Я. П-к, о к-рой не думаю никогда и о смерти к-ой не пожалела ни секунды, — просто — тогда все чисто выгорело — словом, ее, с глупой подру-

гой и очень наивными стихами, от которых — подруги и стихов — я ушла в какой-то вагон III кл. и даже — четвертого».

Цикл «Подруга» был опубликован через много лет после смерти Цветаевой, в 1976-м. Перечитайте эти стихи и вспомните все, что вы знаете о суровой советской цензуре. Сравните с цензурой современной, с повесткой «традиционных ценностей». Не выходит ли, что даже СССР, с его строгим моральным кодексом, был лояльнее к квир-персонам, чем нынешняя Россия? Кстати, знаменитое «Под лаской плюшевого пледа...» из фильма «Жестокий романс» — это тоже одно из стихотворений Цветаевой, посвященное Соне Парнок, а вовсе не мужчине.

*В том поединке своеволий
Кто в чьей руке был только
мяч?*

*Чье сердце — Ваше ли, мое ли —
Летело вскачь?*

*И все-таки — что ж это было?
Чего так хочется и жаль?*

Так и не знаю: победила ль?

Побеждена ль?

Еще один след Сони в творчестве Цветаевой — «Письмо к амазонке», литературное эссе, выполненное в форме письма-рецензии на книгу Натали Барни. Оно заслуживает отдельной статьи, а нам пора переходить к другой героине цветаевских трагедий — «праздничной» Сонечке.

*Мы называем Парнок Соней, а Голлидэй — Сонечкой, потому что именно так обращалась к ним сама Цветаева. Тяжелое и официальное «Софья» кажется не очень подходящим для таких глубоко личных историй.

Софья Евгеньевна на Голлидэй

Краткая биография

Софья Голлидэй — театральная актриса. Родилась в 1894 году в Петербурге. Родители Софьи принадлежали миру музыки: отец, обрусевший англичанин, был известным пианистом, учеником А. Рубинштейна, мать окончила консерваторию и преподавала фортепиано в Павловском институте.

Фамилия Голлидэй — транс-

крипция английского Holliday.

Это была известная в Петербурге династия.

Софья окончила школу драматического искусства при МХАТе. Была ученицей Вахтангова и Станиславского. После спектакля «Белые ночи», где Голлидэй исполняла главную роль, актрисе прочили великое будущее.

Однако вскоре после революции Софья покинула Москву: отправилась на гастроли с труппой и больше не вернулась во МХАТ. Она так и осталась актрисой одной роли. Вышла замуж за провинциального режиссера и провела остаток жизни на маленьких местечковых сценах, скитаясь по стране.

Незадолго до смерти Голлидэй все же вернулась в Москву и работала чтицей классических произведений в лекционном бюро Московского университета. Скончалась в 1934 году от рака печени.

Марина и Сонечка познакомились зимой 1919 года в голодной и жуткой послереволюционной Москве. Цветаева тогда жила с двумя маленькими дочками в Борисоглебском переулке. В том



доме царила специфическая атмосфера. С одной стороны — неопределенность, смутные времена, холод, голод и крайняя бедность (Сергей Эфрон в это время воевал в Белой армии, от него не было никаких вестей). С другой — презрение Цветаевой к быту, отчаянный побег в творчество и романтику мимолетных увлечений в кругу нищих и окрыленных поэтов, литераторов, актеров. Сегодня это назвали бы «богемной тусовкой».

Их первая встреча подробно описана в «Повести о Сонечке». Читатели, конечно, помнят: полная сцена и пустой зал театра-студии Вахтангова после чтения «Метели».

«Передо мною маленькая девочка. Знаю, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками. Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени выются! — косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!» <...> «И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно, на сцене никого

не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша. И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку».

Между ними вспыхнула острейшая взаимная дружба-любовь. Это чувство радикально отличалось от романа с Парнок — и по историческому контексту, и по ролевой модели. Хотя некоторые исследователиходят в «Повести о Сонечке» скрытые отсылки к стихам из «Подруги».

Фрагмент диалога в повести:

Сонечка: «— Марина, вы думаете, меня Бог простит, что я так многих целовала?»

Цитата из первого стихотворения к Парнок:

Вы слишком многих, мнит-
ся, целовали,

Отсюда — грусть.

Марина сразу взяла на себя роль старшей и опытной подруги, отношения были исключительно платоническими — это подчеркивается и в тексте повести: «Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и проща-

ясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (Я была года на три старше, по существу же — на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».) Братски обнимала. Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить».

Вскоре Сонечка стала частой гостьей в Борисоглебском переулке: главной гостьей, самой долгожданной. Если оценить временной промежуток — все их отношения с Цветаевой уместились в каких-то 2-3 месяца. Но когда читаешь повесть, кажется, будто за ночными разговорами Марины и Сонечки пролетали десятилетия.

Интересно, что в книге нет сюжета как такового. Есть длинная предыстория, потом первая встреча и сумбурные вспышки ярких воспоминаний о мимолетных событиях. Разговоры без конца, обсуждение снов, стихов, любовей. А потом сразу — обрыв, внезапное исчезновение Сонечки из Москвы, из

жизни Марины. Сцена прощания в повести — одна из самых душераздирающих:

«Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть — руками — как реку? Пустить — обратно? Чтобы опять была зима — и та сцена — и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, а — первый раз? О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! Я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти — отказалась... Но все-таки — который час, Марина? Это уже я — серьезно. Потому что меня к вам — не хотели пускать, я еле умолила, дала честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале... Марина, зачем я еду?»

И далее: «Последние ее слова в моих ушах: — Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь!»

Сонечка не вернулась ни осенью, ни зимой. Никогда не вернулась к Марине. Летом 1919 года у нее случились весьма успешные гастроли в Симбирске (Ульяновске). «Белые ночи» с Сонечкой-Настенькой по-



корили уездный городок. А дальше типичная история, почти штамп: сольный вечер — шикарный гонорар — обожание прессы — бурный роман с высокопоставленным военным. «Осталась я не потому, что мне скучно стало, или захотелось успеха, ролей, иного плана работы или большого оклада, — пишет Сонечка Станиславскому, — нет, однажды Евгений Багратионович сказал мне: «Софи, я Вам представлю человека, с которым Вам будет интересно беседовать». — А я его полюбила, — потому и бросила все».

Тот военный («красный» комбриг) был, разумеется,

женат. Довольно быстро он наигрался с Сонечкой, а она за это время успела потерять действительно все: Марину, большую сцену, Станиславского и Вахтангова, московских поклонников и возлюбленных. Почти сразу после истории с комбригом Сонечка венчается с режиссером Абрамовским. Она пишет: «...актер, честный, простой, здоровый, уравновешенный человек, — он оградил меня от дров, кастрюль и котлет, я отдохнула физически». Остаток жизни Сонечка скиталась по разным провинциальным сценам, играла эпизодические роли, часто — в амплу трагедии.

Понятно, скажет читатель, а Марине-то почему не писала, почему исчезла с концами? Ведь клялась же: «Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, — не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества...»

И тут хочется восхититься благородством Цветаевой. Она не только приняла удар, но и нашла для своей Сонечки бесспорный аргумент,

красивейшее оправдание: «Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину — в конце концов все равно какого — и любить его одного до смерти. Ни в одну из заповедей — я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь — не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали».

Вспомним, что «Повесть о Сонечке» была написана в 1937 году, в период эмиграции, за одно лето. Это жгучая тоска Цветаевой по России, попытка воссоздать на бумаге атмосферу тех лет и тех особенных отношений. Это ретроспектива, мемуары, оформленные как роскошный посмертный подарок подруге юности.

«Я спустилась в свой тот вечный колодец, где все всегда — живо. Словом, это лето я прожила с ней и в ней... Писала все утра, а слышала, слушала ее внутри себя — целый день».

Марина задумала просла-

вить свою маленькую ветреную Сонечку на весь мир — и сделала это гениально. «Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...»

Напоследок отметим непростой путь повести в советской печати. Первая часть была опубликована в журнале «Новый мир» — с купюрами — и тут же навлекла на себя волну критики. Думаете, дело в некоторой «квирности» темы? А вот и нет. Критиков возмутила клевета на советскую власть и воспевание белогвардейцев. Идеологов волновал контрреволюционный контекст, а не чувства между двумя женщинами. Вторая часть повести стала доступна советским читателям только в 1979 году.

Список источников:

1. Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах (изд. «Терра»).
2. София Парнок. Собрание стихотворений.

3. С. В. Полякова. «Закатные оны дни: Цветаева и Парнок».

4. С. Волков. «Диалоги с Иосифом Бродским».

5. Г. Бродская. «Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба».

6. Наследие Марины Цветаевой, портал <https://www.tsvetayeva.com/>

Милла Лу

«НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ “УДОБНЫМ”»: ИНТЕРВЬЮ С ПЕТЕРБУРГСКИМ АКЦИОНИСТОМ БОРИСОМ КОНАКОВЫМ

Его шокирующие акции-перфомансы вызывали не только нервные конвульсии некоторых депутатов Госдумы, но и неоднозначную реакцию в самом квир-сообществе. Но Борис Конаков считает, что нужно быть честным, прежде всего, с самим собой, а не подстраиваться под чьи-то интересы. В 2013 году он сделал каминг-аут как гей, а чуть позже рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе. Мы поговорили с Борисом о творчестве и жизни, о том, когда уместен акционизм, что держит в России и... какова на вкус собственная кровь.

В России нет ВИЧ-искусства

Мы часто употребляем понятия «акционизм» и «перформанс». В чем разница?

У акционизма и перформанса есть небольшие различия, но чтобы не углубляться душно в теорию и историю, скажу, как я лично для себя определяю разницу. Она, для меня, небольшая, часто вижу, что эти слова используют как синонимы, и в этом нет грубой ошибки. Я воспринимаю перформанс

как действие, которое может происходить не только на улице, а акцию — как событие, преимущественно, уличное, не ограниченное рамками галереи, театра, моего



шкафа, наконец.

На твой взгляд, можно ли акционизм назвать искусством? Или это больше политический вызов? Чего больше в акционизме: искусства или политики?

Акционизм — это, безусловно, форма современного искусства. Хотя, для некоторых представителей академических форм и тем более множества зрителей — это провокация, дилетантизм, обесценивание понятий, что угодно, но не искусство.

С другой стороны, само искусство подразумевает вызов, на мой взгляд. Им может оказаться опять же что угодно — и скульптура, и картина, и оригинальное прочтение классического балета или спектакля. Кроме этого, искусство не может быть вне политики. И сейчас это очевидно.

Ты — профессиональный журналист. Что тебя подтолкнуло стать акционистом?

В 2016 году я узнал о том, что у меня ВИЧ. На тот момент я уже несколько лет как сделал гомосексуальный каминг-аут в своем окружении,

что называется, «прогрел» аудиторию, поэтому, не особо задумываясь, решил, что расскажу о положительном ВИЧ-статусе публично.

Я готовился ко второму каминг-ауту морально и поначалу говорил об этом не всем, а выборочно — людям из близкого окружения, смотрел на их реакцию. Позже я решил, что расскажу 1 декабря, в Международный день борьбы с ВИЧ и СПИД. Я написал пост в запрещенном ныне Facebook и с этого началась, как я это называю, медиа-акция. За несколько дней я дал множество комментариев, написал по просьбе моих коллег из разных СМИ несколько авторских колонок, выступил на пресс-конференции с Верой Брежневой. Я рассчитывал на резонанс, и я его получил.

В Санкт-Петербурге в 2017-году я попал в самую гущу гражданского активизма. Многие из тех, кто тогда был в центре событий, сейчас, по понятным причинам, вышли из публичного поля, а кто-то уехал за границу.

В тот момент я подумал,

что в России не появилось направления ВИЧ-искусства как такового. Безусловно, были акции в нулевых, ко-

не попробовать. У меня хорошее воображение, я обладаю медиа-чутьем и понимаю, что может сработать, что-



торые делали, например, представители общественного движения людей с ВИЧ «Пациентский контроль», которое до сих пор успешно работает, но в другом поле. Но традиции как, скажем, в США и Европе, не сложилось. И я решил – почему бы

бы ее заметили. Некоторые представители арт-сообщества критиковали мои акции за то, что они недостаточно «профессиональные». Они им казались поверхностными, непроработанными. Говорили, что я хайпую ради хайпа. Но я считаю, что хай-

повал в плюс и, если я умею это, почему нет? Я всегда исходил из того, как можно красиво и стильно популяризировать ту или иную тему.

Понимаю, что акционизм в принципе не был популярен в России. Я часто сталкивался со скептицизмом, и это связано не только с политическими ограничениями. В эффективность акции как в метод привлечения внимания к проблеме в целом не особо верят.

Ты говоришь, что акционизм не так популярен здесь и воспринимается чаще всего со скепсисом. Как думаешь, почему? Другая ментальность людей?

Не считаю это только проблемой России. И вообще не считаю проблемой. Люди не обязаны разбираться в искусстве. Они не должны идти по улице, смотреть по сторонам и определять: ага, вот это акционизм, а это просто мужик мочится, потому что он некультурный. О том, должно ли быть искусство понятным, спорить будут вечно.

Как я уже говорил, некоторые считают искусством только то, что «можно по-

весить на стенку», и это ок. Возможно, какие-то формы искусства могли бы остаться маргинальными, как изначально стрит-арт. Но в современном мире монетизируется всё, даже уязвимость, поэтому неудивительно, что то, что сегодня в андерграунде, завтра окажется на обложке Vogue.

Некоторые акционисты начинали «без лиц», а потом стали медийными персонами, как например Надя Толоконникова или Маша Алехина из Pussy Riot.

Конечно, ничего нет плохого в том, что художник-акционист может выйти из тени, стать звездой и зарабатывать деньги. Но тогда, мне кажется, ему самому в первую очередь не стоит называть свое искусство низовым — это нечестно.

Побратались кровью

В своих акциях ты приковывал себя наручниками к мосту, обливался настоящим боярышником. Но, пожалуй, самой эпатажной и неоднозначной стала акция «Брудершафт», во время которой ты выпиваешь вместе с водкой собственную кровь. Расска-

жи об этом.

Это было пять лет назад, в начале ноября 2017. Я на тот момент уже сделал пару перформансов, посвященных ВИЧ. ВИЧ и кровь — связь прямая, тема лежит на поверхности, бери да генери идеи. Мне хотелось сделать что-то именно с настоящей кровью, я искал форму.

В тот момент на меня вышел художник и акционист Леня Цой, известный как Цианид Злой — достаточно заметная тогда фигура в петербургском акционизме — и вдруг, что вы думаете,



предложил сделать акцию с кровью.

Уже не помню, кто первый предложил именно выпить крови, но сюжет мы придумали вместе: ВИЧ-положительный и ВИЧ-отрицательный человек на Марсовом поле выпивают на брудершафт коктейль из крови друг друга, смешанный с водкой. Рядом мы установили таймер, который отсчитывал две минуты — именно столько нужно, чтобы вирус ВИЧ гарантированно умер на свежем воздухе. Ну и сами часы во многом были символическим объектом в нашем действии. Нашу акцию мы посвятили памяти геев, погибших в том году в Чечне, 100-летию Революции, всем политзаключённым и даже моему 30-летнему юбилею. Выбор места проведения акции был тоже не случаен. Марсово поле — одно из знаковых мест в среде местного активизма, там проходило множество индивидуальных и коллективных акций.

Сам факт того, что мы пьем собственную кровь на брудершафт, «братаемся

кровью» – ирония над патриархальным восприятием мужского мира. С одной стороны, акция была посвящена конкретной теме, но с другой – охватывает ещё множество тем, вбирает кучу символов. Например, есть выражение «сколько ты моей крови выпил».

Акция вызвала широкий резонанс. Конечно, не обошлось без хейта, но были и положительные отзывы, любопытная аналитика представителей арт-сообщества. Интересно, что хейтили нас и представители ЛГБТ-сообщества, и ВИЧ-позитивные люди. Некоторые из них считали, что лучше конструировать положительный образ уязвимых групп. Но я считаю, что нужно демонстрировать разные образы. Никто не должен быть «удобным». На мой взгляд, принцип «мы такие же, как вы» не работает и манипулятивен. В том-то и дело, что мы все разные. Думаю, что если все время пытаться создать положительный образ, то пространство для дискри-

минации нисколько не сузится, а скорее наоборот. Я не обижаюсь на конструктивную, остроумную критику, но просто негативные, обесценивающие комментарии, клишированные аргументы меня задевали, особенно от «своих». Но в целом я остался доволен, так как акция «про вирус» завирусилась, и люди начали обсуждать тему ВИЧ даже там, где не ожидаешь, например на «Дваче» или «Пикабу». Всерьёз даже обсуждали, можно ли пить кровь ВИЧ-положительного человека и вообще человеческую кровь. Кроме этого, о теме ВИЧ наконец-то заговорили как об одной из тем современного искусства в России, чего я изначально и хотел.

Каково было пить собственную кровь, какие ощущения ты при этом испытывал?

На вкус кровь солёная, теплая, с очень вязкой текстурой. С водкой она начинает горчить. Её важно очень быстро проглотить, потому что смесь плотная, и тебя может вырвать. Поэтому у



меня были странные ощущения. Повторять это я не хотел бы. И не планирую. Кровь как метафора, инструмент художника, столь же плотная, всеобъемлющая. Считаю, что если уж делать акции, то исключительно со своей, настоящей кровью, как это сделали мы с Цианидом, и один раз. Дальше уже это превратится в бессмысленное кровопролитие. А раз оно и так есть, какой сегодня смысл в акциях подобного толка, да ещё и с красной краской, когда некоторые активисты и акционисты

пытаются особенно часто использовать метафору крови. Но медиаполе перенасыщено этой тематикой, поэтому подобные акции «растворяются», тем более не считаются ни как искусство, ни как месседж, если и в более спокойное время люди не всегда реагировали. Каждая акция хороша в свое время. Как вообще рождаются идеи для акций?

Срабатывает спонтанность. Я брал идеи из окружающей действительности, вдохновения и инфоповодов. Например, что касается акции с

корой дуба и боярышником, то меня зацепила глупость высказывания депутата Госдумы.

Как к твоим акциям относятся люди на улицах? Сталкивался ли ты агрессивной реакцией?

По моему опыту, людям пофиг, что происходит вокруг. Разве что подойдет пара человек с интересом. Но эффект может быть после, благодаря тем же соцсетям. И тогда могут начаться гневные комментарии типа «вот шел бы я мимо, я бы...» Но, чувак, ты же не шел мимо. А если бы и шел, то не понял, что происходит. Человек попадает в медиа-ловушку: что-то происходит, но без него, это что-то он не понимает, ему не нравится, он не может это контролировать. Остается только плевать в комментариях.

Какие из перформансов ты считаешь высшим пилотажем? Есть ли акционисты, которые тебя восхищают?

Мне нравится множество художников и их работ, как суперизвестных, так и локальных. Обычно творчество

оцениваю комплексно. Применительно к нашей теме, мне нравилось наблюдать за тем, что делала петербургская феминистка и режиссерка Леда Гарина. Ее акции всегда были мощными, яркими, в них было множество символов.

Акции были разные: антимилитаристские, феминистские. Одной из самых вирусных стала акция «Православно-вагинальный контроль».

Также мне нравятся перформансы известной сербской художницы Марины



Абрамович. Например, была акция, когда она в течение нескольких часов сидела и смотрела в глаза подходящих к ней людей, которые садились рядом. В какой-то момент к ней подсел ее бывший муж.

Люблю творчество Кита Харинга, например, его стрит-арт, посвященный ВИЧ, «Незнание — страх, молчание — смерть». Кстати, вторая часть названия превратилась в культовый лозунг активистов и акционистов движения Act UP — такая вот связь жанров.

Художник и власть

Были ли реальные угрозы в твой адрес со стороны властей?

Реальных угроз не было. Но это было тогда, четыре-пять лет назад, сейчас всё могло быть иначе. Тогда в этом смысле искусство было удобным форматом. Если ты проводишь акцию, и её сюжет не предполагает твоей инициативы взаимодействия с людьми, но кто-то на тебя обращает внимание, можно всегда сказать: «А мы

снимаем кино». Не было ни заявлений, ни проверок. Все мои акции, что называется, были на грани. Теоретически можно докопаться. Но на законных основаниях ничего сделать было нельзя. После акции на мосту Кадырова была реакция со стороны Милонова, который оскорбил и угрожал каким-то разбирательством. В итоге он сам стал раскручивать эту тему. Через месяц он пошел на этот мост, осветил это в Твиттере. В ответ я записал видеообращение. И на этом «диалог» закончился.

Но реакцией может быть и бездействие властей. Когда меня избили, несмотря на резонанс в СМИ, полиция возбудила уголовное дело только через два с лишним года, и то после жалобы моих юристов, для галочки — это ничего не дало.

Как ты считаешь, может ли художник повлиять на власть?

Власть может отреагировать на творчество или высказывание художника. И эта реакция может быть персонализированной. И, если

говорить о той же реакции Милонова, не знаю, была ли это его собственная реакция или ему было дано указание.

Механизма этой реакции я не знаю — мне часто видится это чем-то рандомным. Но, безусловно, влияние есть. Если говорить о художнике XXI века, то в сфере медиа и соцсетей он становится важной частью информационного процесса. Любая персонализированная реакция, не говоря уже об институциональной — уголовном преследовании и так далее — это, безусловно, влияние творчества художника. Власть может и похвалить художника, и начать уголовное преследование.

Если нужно, устроим прайд и в Антарктиде!

Что должно произойти, чтобы ты сказал себе «все, больше не могу» и решил уехать из страны? Или ты считаешь, что должен бороться до конца?

Мне задавали этот вопрос неоднократно. Но я говорил и говорю: во-первых, я дома. В том числе это ощущение



дает мне ресурс думать и не пороть горячку. Во-вторых, меня там за рубежом никто не ждёт. Я люблю и уважаю свою страну и в своём опыте заграничных поездок мне и в голову не приходило тотально ругать Россию. Всегда отмечал всё хорошее наряду с проблемами вроде прав ЛГБТ или защиты от домашнего насилия. А мы, ЛГБТК, я считаю, всегда найдем возможность проявить свою позицию. Если будет нужно, устроим прайд и в Антарктиде! (смеется). У меня такой всегда настрой. В-третьих,

если говорить об отъезде, то, на мой взгляд, в Европе скучновато, там уже многое устоялось. А здесь всегда экшен, и это мне нравится. Я живу ощущениями, потому что мне с раннего детства быстро становится скучно. Я знаю, что сытое бургерское благополучие и предсказуемость мне быстро надоест. Да, у нас нет гей-браков и могут отпиздить и даже убить за то, что ты гей, но здесь мои родные, друзья, и мне здесь весело. Если мне придётся это бросить и бежать в каких-то радикальных обстоятельствах, мне придётся собирать свою жизнь по кускам. Я могу, я знаю, как, я уже несколько раз в жизни проходил через эту пересборку, и я больше не хочу — устал. Всё идёт параллельно в жизни — хорошее и плохое, поэтому «туннелизировать» мышление я никому не рекомендую.

Мы уже затронули эту тему, но хотелось бы узнать подробнее. Что ты почувствовал, когда узнал о своем ВИЧ-статусе?

Один знакомый мне сказал: «проверься». В тот

момент я постоянно болел — то одно, то другое. Думаю, что это было из-за ослабшего иммунитета. Я сдал кровь, и мне сказали, что у меня плохой анализ на ВИЧ. Чтобы проверить результат, я сдал еще один анализ в СПИД-Центре, и результата нужно было ждать 2 дня¹. В эти дни было грустно, смешно и обидно одновременно, и в то же время была маленькая надежда, чисто чтоб себя подбодрить, поскольку уже было мозгом всё ясно, что результат все-таки будет положительный.

За результатами я пришел в 8 утра, а к 9 мне уже нужно было на работу — делать репортаж с заседания тюменской Гордумы. А центр находился в отдаленном районе Тюмени, окружённый частным сектором. Сейчас вспоминаю и смешно: врачия меня, с трудом подбирая слова, поначалу успокаивала, а я был спокоен, только слегка дереализован — где-

¹ Положительные результаты на ВИЧ могут быть ложными, поэтому в таком случае обычно делается второй анализ (прим. ред)

то кукарекал петух. Потом я поехал на работу. Подхожу к Думе, а там «Молодая гвардия» проводит акцию «Я – донор», в организации которой я раньше участвовал много лет назад, когда был активистом движения. Ребята ко мне подошли и предложили сдать кровь. Я усмехнулся, вежливо отказался. Покурил, подумал, что жизнь — это очень иронично. И пошёл работать. На этом стадия принятия закончилась, не успев толком начаться.

Я не считаю, что нужно постоянно рефлексировать на эту тему. Нужно думать, что делать дальше и действовать.

Изменился ли твой круг общения после того, как ты публично рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе?

Я думаю, что круг моего общения самоотфильтровался еще на стадии моего первого каминг-аута. Поэтому я не заметил каких-то радикальных изменений. Человек – не дерево. Он меняется, люди вокруг меняются, кто-то уходит, кто-то приходит. Все

происходит на естественном уровне. Какие-то оскорбления незнакомых мне людей в соцсетях я вообще не рассматриваю. А из близкого окружения все остались со мной. И, в этом смысле, считаю себя в привилегированном положении. В моем окружении есть разные люди, и я уважаю их мнение. Расскажи немного о своем проекте Квир-биеннале. Будет ли продолжение?

Это была попытка осмыслить понятие «квир» в России. У нас была очень интересная и насыщенная программа. В рамках биеннале проходили лекции, перформансы, демонстрировалась живопись, фотографии, видеоарт, была и дискотека. И все это продолжалось в течение 12 часов.

Я провел этот проект в 2019 году, 9 ноября. Мероприятие было формально приурочено к моему дню рождения (оно 8 ноября), в том числе как мотивация мне же его сделать. Изначально я хотел делать это событие ежегодным. Но в 2020 году случился коронавирус. А потом со

мной случилось выгорание. Так что проект пришлось заморозить, хотя на вторую биеннале уже собрались заявки.

Завершая нашу беседу, хочу спросить: что тебя вдохновляет в творчестве и в жизни?

Вдохновляет окружающий мир, окружающие люди. Это может быть все, что угодно. Это может быть просто прогулка, или срабатывает какой-то триггер, воспоминание. Возможно, это звучит немного банально, но все происходящее вокруг для меня источник вдохновения.



Справка:

Борис Конаков — журналист, редактор, блогер, PR-специалист, медиаконсультант. В 2010 году окончил отделение журналистики филологического факультета Тюменского государственного университета. Сотрудничал с рядом региональных и федеральных СМИ, в числе которых «Тюменские известия», служба информации ВГТРК ГТРК «Регион-Тюмень».

Информационное агентство URA.Ru (Тюмень), а также

порталы zaks.ru, lenizdat.ru (Санкт-Петербург), журнал «Собака.ru» (Санкт-Петербург), Spid.Center, «Парни+» и многие другие.

Школа вовлеченного искусства арт-группы «Что Делать».

Автор на шумевшей акции «Брудершафт» на Марсовом поле.

Автор первого квир-биеннале в России.

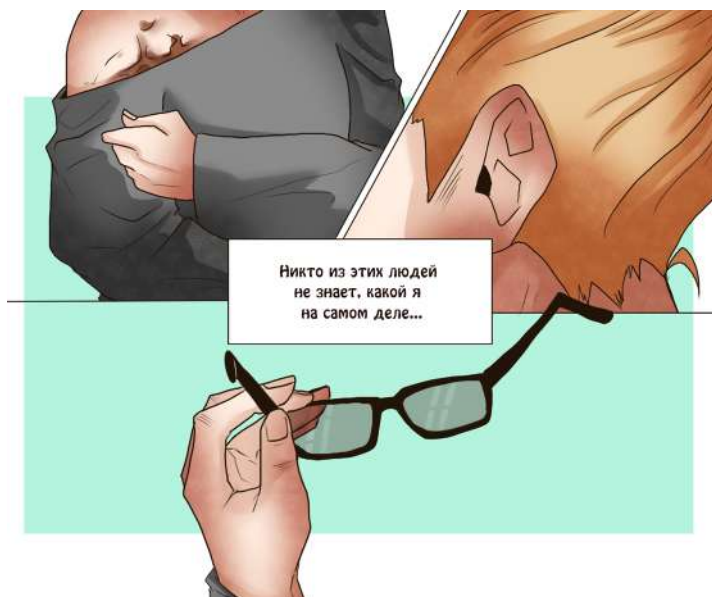


ДОЛОЙ ГЕ(РО)ЙСТВО!



Честно говоря, я не могу
покинуть дом без внимания
со стороны общественности...

Но у меня есть маленький
секрет, как я могу
избегать этого

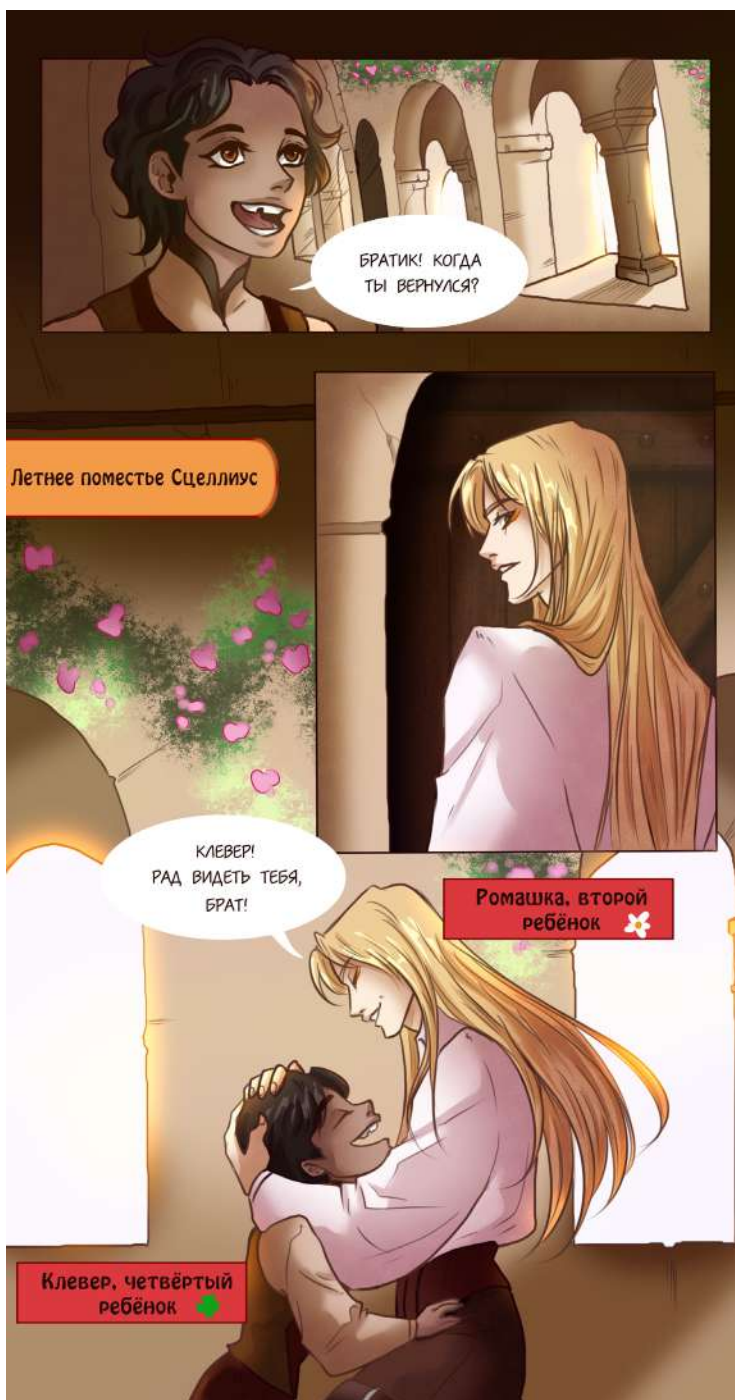


Вот я и пользуюсь их
незнанием ✓

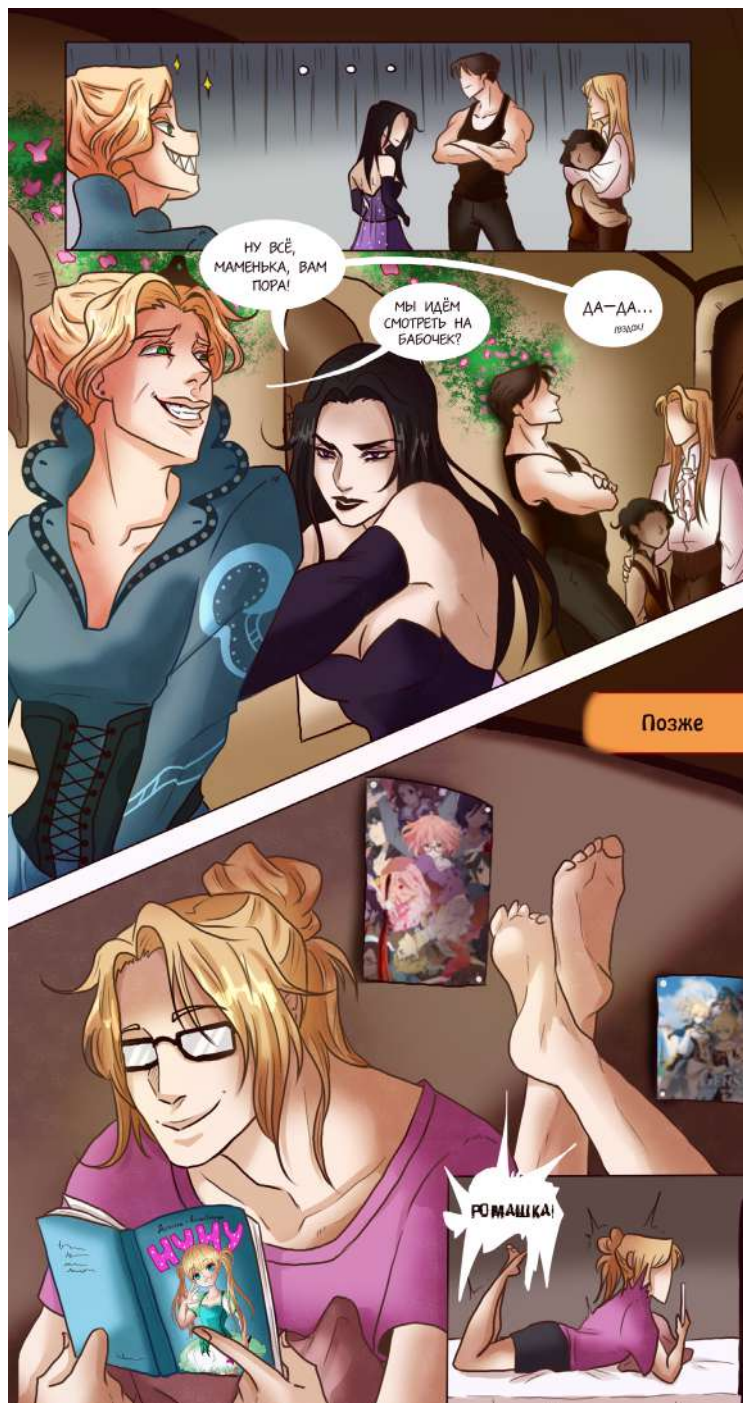


СМОТРИ, КУДА ПРЁШЬ,
БОТАН!











Равмáр Сцеллиус,
отец





Иллюстраторы, путеводитель:

Татьяна Юхнавец стр [7](#), [10](#)

Крис Волык стр [17](#), [20](#), [39](#)

Генри стр [29](#), [33](#)

kidonlsd стр [41](#), [43](#)

Крис Шрайфер [53](#)

ericabestia [57](#), [64](#)

Greg Olivenbaum [66](#), [75](#)

Мария [80](#)

Red Fox [85](#), [88](#)

